

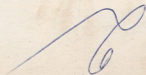
СТМ

Студенческий меридиан

специальный выпуск



ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ





Наталья Гончарова. Эскиз костюма к балету «Литургия». 1914 г.
1500—2000 английских фунтов стерлингов



Возвращение в дом

На страницах этого номера мы представляем молодому читателю многоликую культуру русского зарубежья, скрываемую от нас многие годы.

Трагедию народов, населяющих бывшую Российскую империю, в полной мере разделила культура, оказавшаяся поруганной и насильственно разорванной. Но художники изгнанные, как и художники внутри страны, лишенные права на разговор с читателем, остались верны Слову, правде искусства. И вот наконец мы имеем возможность самостоятельно сравнивать явления литературы, живописи, философии, родившиеся хотя и в муках, но по законам искусства, с образчиками, изготовленными согласно догматам соцреализма. Мы прочитали уже многие книги, о которых прежде не знали; увидели картины мастеров, чьи имена были для нас всего лишь хулимыми именами.

Но еще большее нам предстоит открыть и освоить. Процесс приобщения, процесс восстановления культуры едва начался. И сегодня многие авторы либо только названы, либо и вовсе ждут своего часа. Прежде всего это относится к представителям русского религиозного Ренессанса, вписавшего свои глубоко оригинальные страницы в мировую философию.

Судьба каждого эмигранта трагична. Но выпавшее на долю Александра Исаевича Солженицына — обобщенное проявление злой воли и все-таки торжество справедливости. Правда, лишь частично, потому что вернулись в родной дом пока только его сочинения.

Гражданская судьба нашего великого соотечественника остается по-прежнему неопределенной. Хочется надеяться, что к тому времени, когда выйдет в свет этот номер, ему будет возвращено незаконно отнятое право жить на Родине.

Возвращение в дом — неотъемлемое достояние каждого гражданина правового государства.

Юрий Ростовцев

Р. С. Когда этот номер был уже в типографии, пришло известие о восстановлении в гражданстве СССР Александра Зиновьева, Владимира Максимова, Жореса Медведева.

Наши ожидания оправдываются.

Ст.М

Студенческий меридиан

Ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный журнал ЦК ВЛКСМ и Госкомитета СССР по народному образованию

Издается с мая 1924 года
1990, № 8, 1—80

Главный редактор
Юрий Ростовцев

Редколлегия:

Виктор Астафьев,
Анатолий Богомолов,
Феликс Волков,
Екатерина Гордеева,
Владимир Грошев,
Егор Исаев,
Анатолий Карпов,
Константин Лебединский,
Ярослав Микуляк
(заместитель главного редактора),
Олег Михайлов,
Ирина Репина
(ответственный секретарь),
Александр Сельянов,
Станислав Смирнов,
Людмила Третьякова,
Ольга Чистенкова,
Андрей Шаронов,
Михаил Шипанов

Главный художник
Александр Архутик
Художественный редактор
Константин Кухтин
Технический редактор
Галина Белова

Наш адрес: 125015, Москва,
Новодмитровская ул., д. 5а,
«Студенческий меридиан».

Рукописи не возвращаются. При перепечатке ссылка на «Студенческий меридиан» обязательна. Телефон для справок: 285-80-71

Сдано в набор 25.05.90. Подп. в печ. 05.07.90. А02404. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная № 2. Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,5. Усл. кр.-отт. 27,28. Уч.-изд. л. 10. Тираж 1150000 экз. (1-й завод 500000 экз.). Заказ 2103. Цена 30 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфическое объединение ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес: 103030, Москва, Сушеская ул., д. 21.

© «Студенческий меридиан», 1990 г.

О настоящем

Я — против крайностей. Мне противно слышать от наших популистов, вознесшихся на вершины общественной пирамиды ревностным служением в прежние годы марксизму-ленинизму и идеалам застоя, — грубую брань в адрес Маркса и Ленина. Надо оставить их в покое. Не нужно лишний раз оскорблять старшее поколение, воспитанное на почитании вождей, идеях классовой борьбы и пролетарского интернационализма, — поношением их искренних заблуждений. Старшее поколение и так подавлено осознанием того, что многие из них отдали жизнь химерам.

В то же время меня пугают вдруг появившиеся вновь мотивы в суждениях первых лиц нашего государства. Что я имею в виду? Прежде всего — призывы возвратиться к истинному марксизму и очищенному от сталинизма гуманистическому социализму. Если социализм нуждается в поясняющем эпитете — гуманный, то боюсь, что это просто новый виток заблуждений. И еще более опасный.

Хватит экспериментов над народами нашей страны. 70 лет достаточный срок. Пробуждение национального самосознания поможет народам СССР вернуться к истокам гуманизма и самобытности. Осознание себя в качестве полноценных грузин, азербайджанцев, латышей, русских, якутов, казахов — лучший путь к здоровому гражданскому самочувствию. Свободное развитие наций даст со временем новый импульс государственному единству. Получив гарантированную возможность на независимость, большинство народов изберет жизнь внутри обновленного Союза республик.

Конечно, все это будет во многом зависеть от дальнейшей позиции КПСС. Задача партии на сегодняшний день —

обеспечение постепенного — без спешки, но и без попыток искусственного торможения — перехода к естественному состоянию государственного устройства, главными признаками которого должны стать не партийность, не верность заветам, нет, а законность, профессионализм, свобода волеизъявления всех граждан.

В сфере духовной — полная деидеологизация, в сфере хозяйственной — осуществление государственно-рыночных отношений. Что означает сей симбиоз? Гарантию со стороны правительства безработным — пособий, а старикам пенсионерам, инвалидам, студентам — прожиточного минимума. Иными словами, вводя рыночные механизмы, государство обязано позаботиться о малоимущих.

Можно было бы еще о многом написать, но не уверен, что вас заинтересуют мои размышления. Конечно, хочется надеяться на читательский отклик. Впрочем, поживем — увидим.

Анатолий Вершинин, г. Липецк

**Дорогие читатели
«Ст. М.»!**

Я рад тому отклику дружеских чувств, которые вызвала идея книги «Друзья по переписке» для советской и американской молодежи.

Мы здесь, в Айове, считаем, что 10 000 победителей — это достаточно хороший стимул. Впрочем, подлиннее дружеские чувства не нуждаются в особом поощрении.

В то же время мне понравилась идея советской стороны о том, чтобы как-то специально отметить нескольких преподавателей английского языка, чьи подопечные покажут самые прекрасные результаты.

Надеюсь, что и то праздничное шоу, которое планирует провести «Студенческий меридиан» для финалистов конкурса, тоже окажется и полез-

ным и зрелищным, поможет в открытии соревнования определить главных победителей, которые в 1991 году совершат турне по городам США и СССР. Я буду рад вдвойне, если этот наш общий праздник заинтересует могущественное телевидение.

Со своей стороны, я хотел бы еще раз определить цель конкурса и выпускаемой книги — укрепить дружбу между молодыми людьми двух великих наций.

Представьте себе феерическую волну писем, которые помогут нам воспитать доверие и непреходящую всемирную гармонию в подрастающем поколении — нашей главной ценности.

*С пожеланием успехов и глубочайшим почтением —
Девид Диллман,
американский организатор
конкурса «Друзья по переписке»*

Спасибо!

Конкурсом «Друзья по переписке. СССР — США» вы подхлестнули мое желание изучать английский. Хорошо, что у Веры, моей старшей сестры, сохранились все экземпляры курса «Без переводчика», который написала Н. Алешкина.

Она ведь сочиняла свои уроки, видимо, в вашем стиле. Надеюсь, у меня хорошие шансы на успех.

Андрей Чистяков, г. Ярославль

1991-й

С № 1 мы начнем печатать адреса американских студентов из советско-американской книги «Друзья по переписке». Благодаря этому каждый наш читатель найдет себе друга за океаном.

Причем с января будущего года мы будем выполнять и индивидуальный подбор зарубежного партнера по переписке. (Условия в № 1 за 1991 г.)



РЯДОМ С НАМИ

О Церкви и вере

В одном из номеров журнала мы просили верующих студентов рассказать о своей жизни, тех проблемах, с которыми приходится сталкиваться, поделиться представлениями о Церкви, вере... Сегодня у вас есть возможность познакомиться с некоторыми из них. Думаем, что комментарии излишни. Читайте, размышляйте, пишите нам.

Кто вам признается?

Каким образом вы рассчитываете на письма от верующих студентов? Кто вам в этом признается? Больше половины студентов во Львове верующие. Но кто об этом знает? Только они и их семьи. Я живу как все. Молюсь только тогда, когда никто не видит, в церковь хожу только тайно. И только когда окончу вуз и не буду занимать «положение», при котором «верить» нежелательно, не буду скрывать своей веры.

Без подписи

Такие чистые глаза...

Знаю, что у нас верующих, которые бы учились в вузах, не так много, но они есть. Я верю в Господа Иисуса Христа. Член Церкви Христиан Полного Евангелия. Учусь в университете. Мне 18 лет.

Мешает ли вера учиться или наука мешает вере? Нисколько! Даже наоборот. Я благодарю Господа, что Он так изменил мою жизнь.

Как было страшно видеть неискренность этого мира и замечать, что ведь сам такой же и ничем помочь себе не можешь. Но постепенно я стал задумываться: неужели все так просто — родился, прожил (скорее просуществовал) и умер. А что дальше? Какой смысл этой жизни? Хоть крайне редко, но все же стал задумываться...

Я знал, что плохо врать, пить, курить, рассказывать похабные анекдоты, обещал себе не делать этого, но мои попытки были безуспешны... Но вот как-то случайно попал в общину. И знаете, что меня больше всего поразило? Глаза верующих. Такие чистые глаза в миру я не видел. Они излучали любовь.

И со мной что-то произошло. Я обнаружил, что уже не могу

врать... Прошло время, и теперь для меня Бог не какой-то далекий, он для меня Отец. Он постоянно рядом, в моем сердце, везде.

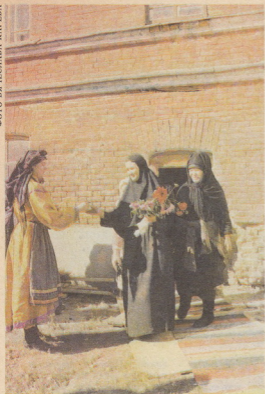
Верить и не получать ответа на свою веру, согласитесь, трудно. Так только люди верят в атеизм. Именно верят в атеизм. Но вера в Живого Бога не такова. Она не монолог, если так можно выразиться, а диалог. Бог дает нам видеть Свои дела.

Сейчас многие молодые люди гибнут от безысходности. Это не значит, что студентам нечем заняться. Есть чем. Да это мало в чем помогает. Согласен — человек становится более умным, сильным, образованным. Но его сущность все равно не меняется. Любое занятие, увлечение может поменять взгляды, идеологию, манеру держаться, но сущность человека не меняется. Многие из них уверены в себе, но покоя, мира в душе они не имеют.

Что заполнит пустоту духа? Только Бог!

Уже слышу ответ: «Да мы ведь атеисты. Мы материалисты».

Не обманывайтесь. Практически все атеисты — атеисты не потому, что познали, что Бога нет. А лишь потому, что так воспитаны. Найдите хотя бы



10 человек, которым в жизни помог атеизм, а я смогу познать комить вас с сотней людей, которым помог Бог.

Чувствую ли я, как студент, противоречие между наукой и Библией, верой и знанием? Ничуть. Библия и наука не противоречат друг другу, скорее наоборот, наука стремится к тому, что уже есть в Библии. Мое мнение — сначала Библия, затем наука.

Денис

Мой путь к вере

Мой путь к вере был очень тернист. Причем Творец всего сущего показал мне вначале всю жизнь во всех ее проявлениях. И этот жизненный опыт привел меня к выводу, что всеми явлениями в жизни управляет надчеловеческая сила.

Я взялся за организацию Дома призрения в нашем городе с бесплатной столовой и магазином для немощных, воскресной школы для маленьких детей. Почему? Да потому, что необходимо вернуть Церковь людям, а вернее, людей Церкви.

Сейчас добро и зло размежевались. Зло неистовствует на улицах в виде погромов, бесчинств и т. д., а добро возрождается в душах людей в стремлении покаяться, очиститься от грехов великих, в заботах о судьбе земли Русской. Я благодарен Создателю за то, что он показал мне и светлость праздной жизни, и избыточность, и величие нравственных ценностей.

Валентин Башкатов

Постижение истины

Я неверующая, но совсем недавно поняла, вернее, почувствовала, что Бог есть. И это не игра воображения, не стремление уйти от «прозы жизни».

Наверное, Бог гораздо сложнее и совершеннее, чем преподносят его различные религии. Откуда столько святых писаний? И каждый носитель какой-либо веры считает, что единственно верна только его вера.

Я слаба и не могу отступить от того пути, который сама себе запланировала и который сложился волею обстоятельств, — на нем внешне все понятно и по-глупому просто, хотя и бессмысленно.

Я думаю, что истинная любовь к Богу может быть лишь у того, кто искренне и бескорыстно любит ближних. Только тот, кто научился этой самой трудной любви в мире, тот постигнет и полюбит Бога, тому откроется истина: «Бог есть любовь».

К сожалению, на земле нечасто наказываются пороки, а добродетель горжествуется. Чаше — наоборот. Остается единственный «стимул» остерегаться порока — вера в наказание за грехи. Конечно, можно сказать, что если человек воспитан добрым и честным, то он и без веры не совершит грязных дел. И, наверное, такой человек ближе к Богу, чем кающийся ханжа. Но мы убедились, что никакие юридические нормы, запреты и угрозы наказания ни к чему не привели. Ведь никакие правовые нормы и ограничения не в состоянии сдержать зло, так как все они относительны. Абсолютно лишь то, что вечно. Поэтому лишь тот не сделает зло ближнему, кто боится наказания Абсолютного Разума (и ничего тут нет предсудительного, хотя нам и «вдалбливали» много лет, что человек становится рабом, боясь божьего гнева, еще неизвестно, чьим рабом хуже быть?).

Иногда мне кажется, что нас, как слепых котят, неведомая всемогущая рука ведет к концу, к Черной яме, чтоб сбросить в нее, как ненужный сор, как использованный материал. А мы все не успокаиваемся в своих ничтожных страхах, все выдумываем себе новых кумиров, все боимся назвать вещи своими именами, расстаться с утопическими глупыми идеями, к которым привыкло уже несколько поколений до нас и мы сами. Может быть, еще и поэтому нашим молодым людям трудно переступить через общественное мнение, трудно прийти к истине.

Если бы кто-то помог мне во всем этом разобраться. Хорошо, что хоть появилась возможность высказать вам мои мысли.

Света

Иду к совершенству

Мне 22 года. Сила моей веры состоит в том, что она пришла ко мне сама. В начале моего озарения я просто задумывал-

ся: почему мне все кажется каким-то неестественным? Я не понимал, что именно, но знал, что что-то не так, что-то сдвинуто не туда в отношениях между людьми. И как-то раз, совсем случайно, я зашел во Владимирскую церковь в Киеве просто посмотреть и там почувствовал в себе новый импульс. Я понял, что нашел Того, кому я могу все рассказать, на кого могу понадеяться, перед кем могу снять маску.

Я стал думать об устройстве мира, человека, космоса, а Он вдохновил меня ответами на эти вопросы. Иногда они решались сами, иногда без всякого труда под руки попадалась ценная книга. Кстати, тут разговор особый. Не имея никакой цели и системы в чтении книг, мне попадались они в том порядке, в каком их нужно читать для Его постижения.

Одним словом, я иду к совершенству, и цель жизни — достичь его. Этому многое мешает. Во многом осведомившись об невежестве, я не могу освободиться от страсти.

Благодаря Ему я знаю очень многое и очень многое еще буду знать, и я не боюсь смерти, так как ее нет. Человек вечен, как Бог, а смерть — рождение в новом теле и новом качестве.

Меня могут спросить — счастлив ли я? Скорее всего нет. Да и не это интересует меня. Счастье — материально и имеет свою противоположность — несчастье (беда, горе). Оно не вечно и чем больше, тем больше страх потерять его и тем сильнее удар при его потере. Не к счастью должен идти человек, а к Блаженству. Блаженство — духовная, высшая и абсолютная категория. Она вечна и легко заметить, не имеет противоположности.

Очень точно об этом пишет Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ». Лишь в лагере, лишенный всего и замученный, ощутил себя свободным и за это новое чувство благодарил судьбу — за все ужасы, приведшие его к пониманию истины. Он приблизился к пониманию Блаженства.

Я еще очень далек от Блаженства, но на правильном пути и мне есть в Кого верить и на что надеяться.

Что же касается церкви, то она не выполняет своих функ-

ций. Достаточно посмотреть на высших церковников на Съезде народных депутатов, где, имея возможность сказать на весь мир правду, разъяснить людям истинную причину всех бед и неудовольств, они испугались и оказались лицемерами в квадрате, не подумав даже, зачем их туда Бог посадил.
Р. Х.

Падение нравственности

Решил написать о роли религии в обществе и отношении к ней молодежи.

Меня беспокоит растущая бездуховность общества, падение общей культуры, нравственности. Да и какой быть духовности, если нам 70 лет внушали, что и души у человека нет, и не нужна она новому, советскому человеку. Я как-то спросил у своих студентов (я преподаватель вуза): что такое нравственность? Из более чем тридцати человек никто ничего мне не смог ответить. Что такое нравочужение — они понимают, «это когда тебя пиялят», а вот слово «нравственность» в их лексиконе отсутствует напрочь. Попытки заговорить о чем-либо, выходящем за пределы ежедневных, материальных (лучше дефицитных) вещей, выявляя обескураживающую убогость мыслей, наводят на грустные размышления.

Никто никогда из них не читал (к сожалению, естественно) Библию, ее Новый завет — Евангелие, а ведь это наимодрейшая, наидревнейшая, наиболее читаемая во всем мире книга! Я — атеист. К сожалению, в Бога не верую, точнее, не верую в учение Христа, но я видел, как менялись люди, если они внимательно, вдумчиво прочитывали эту книгу. Ее нельзя читать как простую художественную — слишком насыщена она мудростью, притчами и ситуациями на все случаи жизни.

Я советую молодым не слушать никого, а сесть и не спеша разобраться в религии самим, прочтя Новый завет (Евангелие). Прочтя и поняв его, поражаешься, насколько мир был бы добрее, счастливее, богаче и лучше, если бы все люди следовали простым заповедям, данным в нем: «Не убий, не укради, почитай отца

и мать, возлюби ближнего, как любишь себя самого...» Если бы все следовали этим заповедям, давно наступил бы христианский коммунизм — общество добрых, гуманных людей. Недаром ведь Сталин, чувствуя огромную притягательную силу христианского учения, составляющего достойную альтернативу и конкуренцию коммунистическому, разрушал храмы и церкви, уничижал священнослужителей, что, впрочем, делал и его последователь. Не понимая, что разрушают основу русской, российской, европейской культуры.

Борис Искрянков

Лучик света

К своим теперешним убеждениям пришла в 19 лет. Никаких трагических событий в моей жизни не было, так что я имею полное право утверждать, что это не результат страха или потрясения и не та соломинка, за которую хватается утопающий, а всесторонне обдуманный шаг.

Я пришла к убеждению, что только лишь обращение к Богу может спасти остатки добра и духовности в наших сердцах, в сердцах людей, живущих на опустошенной земле, утративших язык и культуру, а также само понятие гуманности и благородства.

Люди озлоблены, издерганы, замучены бесконечными неурядицами. Чтобы урвать кусок, готовы на все. Но разве их можно в этом упрекнуть? В результате многолетнего обольщивания их души спят непробудным сном. «Не плоть, а дух разделился в наши дни» — сказано будто сейчас. Я верю, что, если бы повсюду хотя бы частично соблюдались те вечные, моральные заповеди, о которых сказано в Евангелии, скольких бы ужасных ошибок удалось бы избежать человечеству.

За три года я сильно изменилась. Стала мягче, что с моим характером не так легко.

Религия научила меня спокойно смотреть на жизнь и не делать людям больно — зло всегда порождает зло. Я сейчас в положении человека, увидевшего лучик света и надежды среди полного мрака. Единственное, что меня смущает,—

это отсутствие среди моих друзей и знакомых единомышленников.

Ольга

По-другому взглянуть...

Люди приходят к Богу по-разному. Одни обретают веру после долгих и мучительных размышлений о смысле бытия, о назначении человека. Другие становятся верующими под влиянием каких-то событий, серьезных жизненных перемен. Говорят, страдания делают человека иным. Страдания заставляют по-другому взглянуть на мир, на себя и понять что-то такое, чего раньше не понимал...

Вера — неотъемлемое свойство души. Некоторые ставят на первое место разум, но на самом деле не он является двигателем жизни, а вера. Один священник сравнивал веру с мотором, а разум с рулем. Без мотора нельзя завести машину, без руля она разобьется. Весь вопрос в том, во что верить. Одни верят в науку, в силу разума, другие — в человечество, третьи — в прогресс. Но все эти верования можно определить одним словом — идолопоклонство.

Вера в идолы не приносит человеку успокоения, а если и приносит, то на время. Ложные алтари рано или поздно рассыпаются в прах.

Лишь религиозная вера помогает найти ответы на вечные вопросы, лишь она по-настоящему поддерживает и укрепляет в самые трудные моменты. Но, пожалуй, самое главное — вера в Бога ясно отвечает на вопрос, как надо жить.

Без подписи

От редакции. Мы надеемся, что данная публикация писем лишь начало нашего разговора о Церкви, религии, об обретении веры. Нам кажется, что такого рода «письма в слух» могут многое изменить в наших душах, заставить с большим уважением относиться к свободе совести и волеизъявлению людей, помогут стать добрее и отзывчивее.

Континент

Так называется журнал, выходящий в Париже уже пятнадцать лет. Главный редактор — писатель Владимир Максимов. Очень сложно заочно представить себе суть какого-либо издания, как, впрочем, и по отдельным публикациям из него. И все же... Сегодня мы предлагаем вашему вниманию лишь одну из рубрик журнала — «Наша почта» или «Из архива главного редактора». Как пишет сам Максимов: «...читателям будет небезынтересно познакомиться с частью редакторской почты, воссоздающей фон, на котором происходили становление и деятельность нашего журнала». Итак, читаем одно из писем...

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»

Главная вдова русской прозы

Уважаемый Владимир Емельянович!
О записках В. Конецкого «Последняя встреча» уже много писали. Я, наверное, и не взялась бы за письмо, если бы не прочитала в 59-м номере «Континента» у И. Муравьевой: «Бедный Виктор Платонович, как ему защититься с того света!»

Так случилось, что среди многих писем В. Некрасова, которые мы храним, есть письмо, написанное им вскоре после этой «последней встречи» с В. Конецким. Посылаю Вам фотокопию этого письма. (Исключены несколько строк, которые представляют интерес только для нашей семьи.)

Сразу после смерти В. Некрасова Конецкий стремится «заработать» на Некрасове, и заработать вдвойне: с одной стороны, успев одним из первых написать о нем в советской прессе и — с другой стороны — никак не уронить звание «ста-



рого коммуниста». Вроде бы и невинность соблести, и благонадежность показать. С благонадежностью все в порядке. Никаких сомнений в благонадежности В. Конецкого не может возникнуть ни по эту, ни по ту сторону границы. В первых же строчках В. Конецкий создает свой образ — старый комму-

нист, гроза и левых, и правых в Париже...

Последнюю встречу с В. Некрасовым Конецкий описывает как «последнюю встречу Вики с Викою»: встретились двое давних, близких друзей, оба Вики, и, конечно, беседуют на равных... Впрочем, нет — никак не на равных: куда там бедному Вике-эмигранту до Вики из метрополии. Тот, из метрополии, натурально дальновиднее, удачливее, «правоправнее» эмигранта.

Конецкий допрашивает, экзаменует, оценивает Некрасова, подозрительно вглядывается («Не знаю, насколько он замазан! Это знает КГБ»). У него возникает даже «страшное» опасение — «может, Некрасов уже читался здесь Набокова...». Конецкий дает Некрасову советы, дает задания, с которыми бедному Виктору Платоновичу никак не справиться... Строго обрывает зарвавшегося эмигранта, осмелившегося заговорить о будущем России: «Тыкать пальцами в раны имеют право только те, кому эти раны принадлежат». Вот это да! Похоже, что у Конецкого просто выпало из памяти, кто же из них двоих написал «В окопах Сталинграда»...

С трудом веришь своим глазам, когда Конецкий выстраивает систему плоских противопоставлений — «ты здесь... а я там...»:

— У Некрасова маленькая квартирка, даже слышно в телефонную трубку, как льется вода в ванной. Конецкий подозревает, что Некрасов не хотел ему показывать свое «скромненькое жилье». А у Конецкого — большая квартира с балконом.

— У Некрасова здесь не выходит собрание сочинений, а у Конецкого там выходит четырехтомник.

— Ты здесь на метро, а я там на такси.

— Ты здесь без шарфа, а я там с запонками...

Это настолько примитивно, что поначалу кажется розыгрышем.

К сожалению, это не розыгрыш.

Пожалуй, нет ни одного русского писателя, который с таким удовольствием писал бы о своем материальном благополучии. 25-рублевки так и пор-

хают по страницам. Да и с инвальной у Конечного тоже, оказывается, все в порядке. Особенно нелепо все это звучит в приложении к Некрасову, у которого была совершенно другая шкала ценностей.

То, что «последняя встреча» проходила без свидетелей, а самого Некрасова уже нет, развязывает мемуаристу руки. И появляются эти чудовищные «любимы-цитаты» из Некрасова, которые никакого отношения к Некрасову не имеют.

— Нет тут никаких писателей — все засранцы.

— Максимов? Я с ним в разрыве... но прохиндей он идейный... хотя ни одного французского слова так и не впитал в свою башку...

— Владимир? Жоре сейчас плохо, боссы из НТС ему под дых дали — в дерьме на тротуаре кукует.

— Аксенов? А ну их всех в...
— Солженицын? Впал в политическое детство и в результате выпал как из литературы, так и из политики.

Ни при какой погоде Некрасов не мог произнести: «в дерьме на тротуаре кукует». Крепкое словечко — другое дело. Но не этот боцманский лексикон, ерничанье, злорадное брюзжание — до последних дней ему были свойственны радостный интерес к людям, сверхнисходятельность, редкое благородство.

Вкладывать в уста уже ушедшему писателю оценки, противоположные его сути, его характеру, его человеческим пристрастиям, — это оскорбительно, неприлично и просто чудовищно. Пройдут годы — и бойкие филологи начнут закавычивать эти недобросовестно приписанные писателю высказывания. Осторожно! Не верьте! Прочтите самого Некрасова.

Дорогая Светлана!

Что-то в вашей жизни произошло кардинальное — начинаю забыть я, далекий и когда-то любимый. А я вот помню и люблю даже нечто о нашем Алеше Германе... Добрый все же я.

...Был здесь недавно Витя Конечкий... Два вечера мы сидели с ним в моем «Монпарнасе», пили пиво, и, как ни странно, без особого азарта.

Парень он, кажется, хороший

(до сих пор «ходит» на кораблях), но как-то он меня не очень обаял. Какой-то категоричностью и активной нелюбовью к Васе Аксенову и Толе Гладиллину.

Горбачева похваливает — говорит, что ему, Вите, при нем стало просто хорошо — издавать, переиздают. Не могу сказать, чтобы об этом, последнем, он говорил мало. Приехал с какой-то делегацией из мудака и мудачки — руководителем...

...Из ярких, радостных впечатлений — концерт С. Юрского. От его шукинских «Сапожек» я просто рыдал...

Вот так-то... Целую, несмотря ни на что. В.

Не было, как видите, трогательного единения двух Вик. Не было этих слов об Аксенове и других писателях, которые Конечкий приписывает Некрасову.

А что было? Было — подробное и многословное описание Конечким своих успехов. Была — активная нелюбовь Конечного к Аксенову и Гладиллину. Была — категоричность Конечного, оттолкнувшая Некрасова.

Жалко и недостойно выглядит желание В. Конечного примазаться к славе В. Некрасова, изобразить себя близким другом, чуть ли не душеприказчиком В. Некрасова.

Собственно, это в какой-то мере повторяет то, что Конечкий уже проделал однажды — по отношению к Юрию Казакову. Но, как прекрасно сказал по этому поводу В. Аксенов («Континент» № 50, с. 352), «...все его попытки создать на

фоне Казакова свой образ, равный его покойному другу и корреспонденту, образ писателя Земли Русской, рыцаря пера без страха и упрека, рущатся в бытовую соцреалистическую банальность. Ничего не получается... и, как видно, уже не получится. Не старайся!»

То Конечкий — ближайший друг Ю. Казакова, то — один из последних советских писателей, который видел В. П. Некрасова и которому Некрасов чуть ли не исповедался... Эдакая вдова русской прозы...

Должна сказать, что никакой радости от «уличения» Конечного в недобросовестности я не испытываю: я всегда считала его честным человеком, порядочным и несуетливым.

Ну что ж, мне так же, как и Конечному, приходит на память слова соседа В. П. Некрасова по кладбищу, сказанные о таких прилежных исполнителях социального заказа:

Уходят, уходят, уходят друзья.
Одни в никуда, а другие — в князья...

Им право — не право,
им совесть — пустяк,
Одни наплюют, а другие простят!

Уходят, уходят, уходят,
Уходят мои друзья!

Светлана Гельман

Монтеррей, 27 сентября 89

Здравствуйте и спасибо за письмо —
на!
Спасибо вам за то, что вы вспомнили
меня и мои дела: спасибо вам за то,
что вы помните меня и мои дела.
С уважением,
В. Максимов
20. 7. 90.



ВСТРЕЧА

**Владимир Максимов:
«Изменение нравственного
климата — мы с этого
начинали...»**

— Я хотел бы говорить о литературе, хотя знаю, что разговор все равно возвратится к политике. Я буду абсолютно честен.— Так начал выступление в студенческом клубе МГУ писатель Владимир Емельянович Максимов, писатель третьей волны эмиграции.

— Мы не отличаемся от всех других эмиграций. Эмигранты — люди ущемленные, с амбициями. Позиция нашего журнала — объединение перед опасностью, под одной крышей таких разных людей, как, например, Иосиф Бродский и Наум Коржавин. Как говорит Коржавин: «Везде плохо, где есть люди. Ну, люди есть люди».

Я прожил на Родине до сорока четырех лет. В какой-то степени на Западе я что-то понял.

Я уехал, но сделал этот выбор не добровольно. Я и там делал все, чтобы то, что происходит здесь, началось. В свое время мы хотели изменить не

систему, а климат, и нашими учителями были Сахаров и Солженицын. Потому что как тогда, так и сейчас в стране как в серной кислоте разъедаются все модели, экономические и политические. И никак не удается разрядить страшную взрывчатую атмосферу.

Изменение нравственного климата — мы с этого начинали.

Не по крови, не по национальному признаку определяется принадлежность человека к своему народу, а по исповеданию ценностей этого народа. Меня спрашивают о Галиче. Эмиграция сломала ему жизнь, сломала его внутренне. В эмиграции у него не было врагов, но у него — барда — не было аудитории, одно-два выступления, а на радио «Свобода» он сразу попал в среду людей мелких и маленьких. Он часто приходил ко мне оттуда в слезах. (Галич — крестный отец моей старшей дочери.) И мне кажется, не он должен Родине, а Родина должна ему.

Беда нашей интеллигенции — изобретение велосипеда. Давно уже разоблачены и Сталин и Ленин. Я не думаю, что последнего надо особенно разоблачать. У него почти не было секретов. Это был дьявольский соблазн равенством, братством и чудом.

А простые люди, которые

убивали, ни в чем не виноваты? А я, который работал в советских газетах и написал столько чуши, я — ни в чем не виноват?

Мы их растлили, а теперь растленные виноваты? Нет, господа... Мы все виноваты в наших бедах, и только с осознанием личной вины мы можем начать возрождение. И религиозное возрождение не может произойти в одном поколении. Религия — дело интимное, очень личное. Нельзя превращать религиозное возрождение в шоу, в политическое шоу.

В Союзе единственная небольшая группа, близкая по духу «Континенту», это «Экспресс-хроника», неформальный орган. А из официальных нет таких, с которыми мы могли бы разделить их программу. Вся пресса занимается пропагандой мифов, среди них мифы о Западе и мифы о старой ленинской гвардии.

Гласность гласностью, а поток рукописей на Запад увеличивается. С другой стороны, кажется, что литература идет на снижение, писатели увлекаются разговорным жанром. Я готов поклониться в пояс, если получу талантливую рукопись. Все талантливое должно быть опубликовано. Я считаю, что журнал должен лишь отражать литературный процесс.

В одной из записок меня просят дать оценку книги Абрама Терца «Прогулки с Пушкиным». Обратись к нам автор, Андрей Синявский, с рукописью, мы бы ее напечатали. Это аморальная, но талантливая книга.

Мне больше нравится прекрасная книга Игоря Волгина о Достоевском, напечатанная здесь, на Родине.

Да, в эмиграции «Континент» называют «русским обкомом», но так говорят люди, которые сами хотели бы им быть. Во всяком случае, нас никто не назначал.

Человек, проживающий в эмиграции, представитель чужой культуры, человек второго сорта, к нему относятся прохладно. Мы — часть русской культуры. И я бы желал молодым, если есть такая возможность, печататься дома... «Та» литература дает скорее отклик здесь, нежели там... Запад — мало читающая территория. Социальное благополучие не всегда способствует интересу к культуре.

16 апреля 1990 г., Москва

Записала Ольга Адрова

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»

Никакой мелодрамы

Беседа с Иосифом Бродским

— После получения Нобелевской премии изменилось ли что-то в вашем подходе к творческой работе, намечались ли новые темы? Как вам пишется сейчас?

— Нормально. Так же, как всегда писалось. Может быть, я пишу чуть меньше, но длиннее.

Говорить о тематике трудно. Стихотворение — это скорее лингвистическое событие. Все мои стихи более или менее об одной и той же вещи — о Времени. О том, что Время делает с человеком. Каждый год, на Рождество, я стараюсь написать по стихотворению. Это единственный День рождения, к которому я отношусь более или менее всерьез.

— Этому, надо полагать, есть причина?

— Вы знаете... это самоочевидно. Не знаю, как случилось, но действительно я стараюсь каждое Рождество написать по стихотворению, чтобы таким образом поздравить Человека, Который принял смерть за нас.

— Тем не менее, как мне кажется, тема христианства — в традиционном понимании — не обозначена достаточно отчетливо, выпукло, что ли, в вашей поэзии... Или я ошибаюсь?

— Думаю, что вы ошибаетесь...

— Входящий в число глубоко почитаемых вами поэтов Осип Мандельштам, по утверждению его вдовы Надежды Яковлевны, несмотря на свое еврейское происхождение, глубоко принял право-

слави и был «христианским поэтом». С таким, на мой взгляд, категоричным и несколько суженым представлением о нем сложно согласиться, читая отдельные стихи 30-х годов, «Четвертую прозу», «Египетскую марку»... А как вы, автор пронизанного глубокой внутренней болью «Еврейского клуббища в Ленинграде», пришли к христианству? Как оно, если позволите так выразиться, осознается вами?

— Ну, я бы не сказал, что высказывание, которое вы процитировали, справедливо. Все зависит от того, как узко или широко понимать христианство, как узко или широко понимала его Надежда Мандельштам в том или ином контексте. Что касается меня — в возрасте 24 лет или 23, уже не помню точно, я впервые прочитал Ветхий и Новый завет. И это на меня произвело, может быть, самое сильное впечатление в жизни. То есть метафизические горизонты иудаизма и христианства произвели довольно сильное впечатление. Или — не такое уж сильное, по правде сказать, потому что так сложилась моя судьба, если угодно, или обстоятельства: Библию трудно было достать в те годы — я сначала прочитал Бхагавад-гиту, Махабхарату, и уже после мне попалась в руки Библия. Разумеется, я понял, что метафизические горизонты, предлагаемые христианством, менее значительны, чем те, которые предлагаются индуизмом. Но я совершил свой выбор в сторону идеалов христианства, если угодно... Я бы, надо сказать, почаще употреблял выражение иудео-христианство, потому что одно немислимо без другого. И, в общем-то, это примерно та сфера или те параметры, которыми определяется моя если необязательно интеллектуальная, но в крайней мере, какая-то душевная деятельность...

— Как вы расцениваете тот факт, что в Советском Союзе стали публиковаться ваши стихи? Ваше отношение к такому поэтическому возвращению на Родину?

— Для меня оно не является неожиданностью. Это меня радует приятным образом, естественно. Я предполагал, что так или иначе это произойдет, но не предполагал, что так быстро. Уезжая, покидая Отечество, я написал письмо тогдашнему Генеральному секретарю ЦК Леониду Ильичу Брежневу с просьбой позволить мне присутствовать в литературном процессе в своем Отечестве, даже находясь вне его стен. На это письмо ответа тогда не последовало — ответ пришел через шестнадцать лет...

— На сегодняшний день у вас нет никаких официальных приглашений посетить Советский Союз?

— Официальных нет. Неофициальных — тоже.

— Этот вопрос я уже задавал вам в Стокгольме, в день получения вами Нобелевской премии, и тогда, помню, вы не ответили на него с достаточной ясностью. Сейчас же мне хочется повторить его: если бы приглашение вы получили, вы бы туда поехали?

— В этом я, говоря откровенно, сомневаюсь. Потому что я не могу себя представить в положении туриста в стране, в которой я родился и вырос. Других вариантов на сегодняшний день у меня нет и, полагаю, уже никогда не будет. Кроме того, я думаю, что если имеет смысл вернуться на место преступления, потому что там

могут быть зарыты деньги — или уж не знаю почему преступник возвращается на место преступления, — то на место любви возвращаться особого смысла нет. Я ни в коей мере не противник абсурда, но противник абсурдизации существования, но не хотел бы по крайней мере быть ответственным за это. По своей воле вносить дополнительный элемент абсурда в свое существование особенно не намерен.

— Все же вы, насколько я знаю, небезразлично относитесь к тем событиям, которые происходят в «Империи» — в Советском Союзе и вообще в странах Восточной Европы. Не случайно же оказалась написана пьеса «Демократия!»...

— Это правда. Я отношусь к этому с интересом, с любопытством. Некоторые события приводят меня в состояние абсолютного восторга, как, например, перемена государственного порядка в Польше, в Венгрии, то, что происходит на сегодняшний день (когда мы говорим с вами обо всех этих делах) в Германии... Но, в общем, одновременно с чрезвычайно активными сентиментами у меня как бы рождается мысль с... опасениями... Я опасаясь не того, что, скажем, все переменится — власть в Москве, кто-то пожелает снова ввести войска в Европу и т. д. и т. д. Меня несколько тревожит то, чем все это обернется в случае «торжеств справедливости» во всех этих странах, в том числе в России. Представим себе, что там воцарится демократический строй. Но в конце концов демократический строй выразится в той или иной степени социального неравенства. То есть общество никогда, ни при какой погоде счастливым быть не может — слышом много в нем разных индивидуумов. Но дело не только в этом, не только в их натуральных ресурсах и т. д. Я думаю, что существование экономики не существует, или она для данного общества может носить чрезвычайно ограниченный, изолированный характер. Благополучие может испытывать семья, но уже, скажем, не квартал — в квартале всегда возникнут разнообразия. Поэтому я просто боюсь, что в состоянии эйфории те люди, которые предполагали, что они производят поворот на 180 градусов, могут довольно скоро обнаружить, что поворота на 180 градусов не существует, потому что мы есть человечество. В определенном социальном контексте любой поворот на 180 градусов — это в конце концов всегда поворот на 360 градусов. Вполне возможно, что возникнет к концу века ситуация, которая существовала в начале века, то есть при всех демократических или полудемократических системах (как даже и в России зачатки прививались): снова появятся оппозиционные партии и т. д. и т. д., но все это будет носить уже количественно несколько иной, видимо, более драматический характер, потому что изменилась демографическая картина мира, изменилась, грубо говоря, к худшему, то есть нас стало больше...

— Вернемся, однако, к литературе... Тот факт, что обращение к Анри де Ренью у вас произошло через Кузмина, позволяет сделать предположение, что к этому мастеру вы обнаружили особый интерес...

— Нет... Как поэт, Кузмин на меня довольно долго не производил никакого впечатления. По крайней мере в период между двадцатью и тридцатью я его довольно мало читал, а то, что

читал, мне не представлялось чрезвычайно интересным, вызвало даже некоторое раздражение. Почему, думаю, моя реакция была такова? Просто потому, видимо, что в те времена меня — человека молодого, развивающегося — занимала в большей степени дидактическая сторона искусства, в ущерб чистой эстетике. То есть я думал, что эстетика — это средство дидактики или по крайней мере нечто вторичное. Потребовалось некоторое количество лет, пожалуй, целое десятилетие, пока я не дошел, что называется, «собственным умом» до переоценки Кузмина...

— *Иными словами, он возвысился в ваших глазах?*

— Чрезвычайно! Я считаю, что это замечательный поэт, один из самых замечательных поэтов XX века...

Вообще мы, русские, находимся в довольно шикарной или скорее чрезвычайно интересной ситуации. Русская поэзия обеспечила русского читателя невероятным выбором. Выбор — не в том, какие стихи тебе больше нравятся: вот я буду читать этого, а этого читать не буду. Дело в том, как это ни странно, что нация, народ, культура во всякий определенный период не могут себе позволить почему-то иметь более чем одного великого поэта. Я думаю, это происходит потому, что человек все время пытается упростить себе духовную задачу. Ему приятно иметь одного поэта, признать одного великим, потому что тогда, в общем, с него снимаются те обязательства, которые искусство на него накладывает.

В России произошла довольно фантастическая вещь в XX веке: русская литература дала народу, ну, примерно десять равновеликих фигур, выбрать из которых одну-единственную совершенно невозможно. То есть все эти десять, скажем — шесть, скажем — четыре, являются, на мой взгляд, метафорами индивидуального пути человечества в этом мире.

Что такое вообще поэт в жизни общества, где авторитет Церкви, государства, философии и т. д. чрезвычайно низок, если вообще существует? Если поэзия и не играет роль Церкви, то поэт, крупный поэт, как бы совмещает или замещает в обществе святого в некотором роде. То есть он — некий духовно-культурный, какой угодно (даже, возможно, в социальном смысле) образец.

В России возникла ситуация, когда вам даны четыре, пять, шесть, десять возможных идиом существования. На этих высотах иерархии не существует. Невозможно, например, сказать, что (то есть я бы сказал, конечно, но это уже в полемическом пылу) Цветаева лучше поэт, чем Мандельштам. Поэтому, например, я не ставлю Кузмина выше других, но не ставлю его и ниже.

— *Примерно представляя круг ваших литературных привязанностей, я хотел бы вас спросить о ваших склонностях в музыке, живописи. В какой степени они присутствуют в вашей жизни, как отражаются их влияние?*

— Думаю, я продукт всего этого. Продукт этих влияний. Это даже не влияние — это то, что определяет и формирует.

В музыке — это, безусловно, Гайдн. Я считаю его одним из самых выдающихся композиторов.

В полемическом пылу или для того, чтобы сагитировать публику относительно Гайдна, я мог бы сказать, что он интереснее, чем Моцарт или, допустим, Бах. Но на самом деле это не так — опять-таки на этих высотах иерархии не существует! Чем Гайдн мне привлекателен? Первое — тем, что это композитор, который оперирует в известной гармонии, как бы сказать?... — гармонии баховско-моцартовской, но тем не менее он все время неожиданный. То есть самое феноменальное в Гайдне — что это абсолютно непредсказуемый композитор. Вы никогда не знаете, что произойдет дальше...

Что касается музыки XX века, то у меня нет никаких привязанностей ни к кому. За исключением, пожалуй, «Симфоний псалмов» Стравинского.

В живописи это всегда был (думаю, уже на протяжении лет двадцати) самый замечательный, на мой взгляд, художник — опять-таки мы говорим о старых добрых временах, о Ренессансе в данном случае, — Пьеро делла Франческа. Одно из сильнейших впечатлений — то, что для него задник, архитектура, на фоне которой происходит решающее событие, которое он живописует, важнее, чем само событие, или по крайней мере столь же интересно. Скажем, фасад, на фоне которого распинают Христа, ничуть не менее интересен, чем Сам Христос или процесс распятия.

Если говорить о XX веке, то у меня довольно много привязанностей. Наиболее интересные явления для меня — это Брак и несколько французских художников (в общем, наиболее интересная живопись в этом веке была именно французская): Дюфи, Боннар. И Вояджер, конечно. Но это — другое дело. Там скорее литография...

— *Исходя из банальной аксиомы о связи судьбы поэта, художника с его творчеством, я хотел бы сейчас спросить вас еще вот о чем. В своем недавнем стихотворении «Fin de siècle» вы пишете: «Век скоро кончится, но ранние концы я...» Тема смерти неоднократно находила место в вашем творчестве, однако, как мне кажется, она еще никогда не обнажалась так остро. Или по крайней мере не имела такого конкретного временного выражения...*

— Ну, это совершенно естественно... Это не моя «заслуга», а — как бы сказать? — «заслуга» хронологии. То есть действительно, столетие кончится через одиннадцать лет, и я, думаю, этих одиннадцати лет не проживу. Всё. Мне 49 лет, у меня было три инфаркта, две операции на сердце... Поэтому у меня есть несколько оснований предполагать, что я не проживу еще столько...

— *Тем не менее хочется верить, что вы не отказываетесь строить какие-то планы на будущее?*

— Вот этого как раз я и не делаю. Декарт говорил: «Dum spiro spero» — «Пока дышу — надеюсь». Но на этот счет есть еще другое замечательное выражение у английского философа Фрониса Бэкона: «Надежда — хороший завтрак, но плохой ужин».

*Беседу вел журналист
Виталий Амурский*



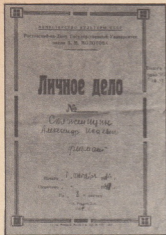
Павел Филонов. «Три лица». 1925 г.
30 000—40 000 английских фунтов стерлингов

Спрос «на русское»

Можно со всей уверенностью сказать, что спрос «на русское» по-прежнему велик.

Подтверждением этому служат распродажи на аукционах, которые устраивает знаменитая английская фирма «Сотбис». Те цены, что

называются, производят ошеломляющее впечатление. Так почему нынче русский авангард 20-х годов? Некоторые работы из каталога, выпущенного к прошлогоднему аукциону «Сотбис», помещены на страницах нашего журнала. Посмотрев их, вы получите исчерпывающий ответ.



ХАРАКТЕРИСТИКА 6

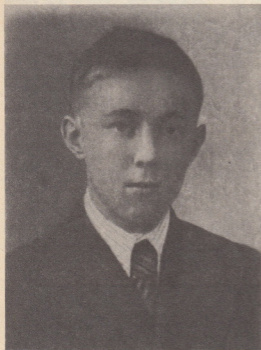
г. СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич — студент 5 курса физмата РГУ / математ. специальность / является отличником учебы в сталинских студенческих отрядах. На протяжении всех пяти лет пребывания в университете тов. Солженицын получал только отличные оценки, особенно высокие в университете с восточным факультетом из англоязычного факультета. К Солженицыну, это последнее обстоятельство не дало возможности тов. Солженицыну получить оригинальные результаты в своей курсовой работе.

тов. Солженицын ведет большую общественную работу — редактор областной газеты и стрелка курсов.

Деятель физмата рекомендует тов. Солженицына на должность ассистента факультета или аспиранта.

РЕКТОР РГУ / Белоусов /
СЕКРЕТАРЬ ПАРТИБЮРО / Равкина /

Фотоокументы любезно предоставлены редакции Александром Кожиным (г. Ростов-на-Дону). Публикуются впервые.



ДОКУМЕНТ НОМЕРА



Представленные на этом развороте документы всего лишь малая часть с выставки, посвященной ростовскому периоду жизни А. И. Солженицына, что развернулась в Ростове-на-Дону. Городе, где он с отличием окончил среднюю школу, а затем университет.

Порой, особенно когда это касается выдающихся людей, даже обычные канцелярские документы несут в себе совершенно неожиданные вещи. В полной мере это можно отнести и к А. И. Солженицыну.

Удивительно, но факт, вы можете воочию убедиться, вроде бы сухой документ — Личный листок по учету кадров — отразил черты характера человека, его устремления.

Обратите внимание на графы 17 и 18. Ответы на вопросы в них далеко не типичны — «пока никакой», «еще нет». Так и хочется произнести дальше — «но непременно будут» — и ученая степень, и научные труды, и изобретения. И, конечно, сама собой напрашивается мысль, что перед нами запись человека, решившего прожить жизнь по большому счету, вполне уверенного в себе.

Наверняка кто-то подумает, что вовсе не так можно понять его ответы, мол, не надо домысливать того, чего не знаешь точно. Но в том-то и дело, что мы уже хоть и отчасти, но знаем Солженицына, а приведенный пример лишь стрих, подтверждающий цельность характера Александра Исаевича, проявившуюся довольно рано.

Студент, задумайся над этим!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Рисунотел... *Рисунотел... [illegible]*

5 лет обучения и результаты государственной экзаменационной комиссии: *хорошо*

Члены комиссии: *Александров, Новиков, Давыдов, С. [illegible]*

Подпись: _____

Президент: *[illegible]*

Члены: *[illegible]*

Дата: *16 июня 1941*

Заполнен нижняя подложка саче для обмена на диплом

Борис Козлов: «Моих работ в России почти нет...»

Он неуловим. Он похож на свои картины. Его невозможно понять, его надо принять. Его творчество... Филигранность, отточенность образа, глубокая идея. Трагичность. Его вещи уходят, уплывают из рук. Они остаются с ним в виде слайдов и воспоминаний. И оставляют ему свою душу.

Он похож и не похож на остальных художников. Он до невероятности прост, и в то же время у него есть своя «манящая величия». У него интересная судьба, но еще более интересная душа. Несмотря на то, что судьбу его легкой не назовешь, он счастлив. Он — независим.

Он быстрый, светливый, и задумчивый, внимательный. Решительный и мягкий, слабый и принципиальный, ироничный, углубленный в себя, «рубашапарень»... Он многогранен, с его работами дело обстоит так же.

— Мне повезло. Я не испорчен «академизмом». В детстве получил хорошую базу, посещая студию живописи при Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Там увидел сокровища запасников и научился рисовать натуру. Два раза меня оттуда вышибали: первый раз за то, что поймали в зале импрессионистов, куда нам было строго-настроено запрещено входить, и второй — за то, что я из-за своего вредящего характера изобразил Суллу в пионерском галстуке.

Потом был институт и «Салон Фрида», в который меня привел мой друг и где приобщился к самой «глухой» московской богеме. Я тогда еще писал стихи и учился в педагогическом. Правда, я хотел пойти в Му-

хинское, но мне там сказали (просто человек попался хороший): «Мальчик, ты сейчас делаешь академию так, как наши выпускники. Так что художником стать, если захочешь, все равно станешь, а здесь...» И из меня вышел дипломированный учитель русского языка, литературы и истории, посещающий Салон. Но вскоре, благодаря стараниям того же друга, я попал в самое «аристократическое» московское общество, которое формировалось вокруг, как мы их называли, «бывших жен» Фалька.

Их дом был совершенно мистический, принадлежавший ранее Вхутемасу: на шестом этаже квартира, где одно время жил Хлебников, а напротив обитали в коммуналке «старухи», и там же была бывшая мастерская Кандинского и комната, где работал Петров-Водкин.

Одной из старух была Александра Вениаминовна Азарх (Грановская), которая вернулась из эмиграции во время первой волны возвращений (тогда же и Куприн приехал). И вот в Париже один индус ей нагадал, что едет она в какую-то Тьмутаракань и там произойдет событие, которое отложит отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь. И, действительно, с ней в Москве приключилась трагедия, ей травмаем отрезало ногу, и она сиднем просидела с 35—36-го годса до 80-го, до самой смерти, и, мо-

жет быть, из-за этого увечья ее в свое время и не тронули.

И сформировался такой необычный круг. Там я увидел Шагала, там познакомился с Ахматовой, которая представила меня так: «Вот Боб! Он тоже стихи пишет, Йоська, познакомься!» Это был Бродский, мы с ним познакомились, но это ни во что не вылилось...

А вторая сестра, Раиса Вениаминовна, была женой, вернее, одной из жен Фалька. Она была ученицей известного витебского художника Пена, у которого и Шагал в свое время учился, и, возвратившись после эмиграции в Москву, она создала ореол Фалька. Там висели его картины, там хранили память о нем, и, как это часто бывает у интеллигентных людей, к ним ходила последняя жена Фалька — Ангелина Васильевна Щекина-Кротова. Собственно, она-то и содержала понастоящему этот круг.

Но я не только писал стихи, хотя поэтов вокруг меня было больше, чем художников, и надо мной вначале висел комплекс «дилетантства». В 1957 году я увидел знаменитую фестивальную выставку, увидел впервые Кандинского и понял — это мое! И стал писать абстракции. Через абстракцию пришел к старым мастерам, к пониманию искусства. Такой обратный процесс. И потом, у меня был свой собственный цвет. А нередко в художественных вузах дают «анатомию», а цвет забирают.

И была еще одна встреча в моей жизни, сыгравшая свою роль. Я любил посещать с приятелями магазинчик на Герцена. Тогда как раз было время, когда разрешили продавать работы художников со всякими «измами». И вот мы стоим, я смотрю какую-то книжку и попутно рассказываю о конструктивизме. А надо сказать, что я семь лет не вылезал из Ленинской библиотеки и занимался не только историей искусства, а всем подряд: философией, религией, хиромантией, графологией, спиритуализмом. Но в основном меня привлекала история изобразительного искусства через призму православия. Это, собственно, и был мой институт.

И вот стоим мы, и я расска-



Борис Козлов. «Всякое дыхание»

зывают: «Габб, Габб». Вдруг какой-то человек обращается ко мне и спрашивает: «Простите, а откуда вы знаете про Габб?» Ну, я ответил, вот так получилось, что знаю. А тогда знали в основном Татлина, Родченко, а Габб, как основатель конструктивизма, был почти неизвестен. И этот человек мне говорит: «Я родной его брат». Так мы познакомились и стали большими друзьями. Он вывел меня потом на Павла Кузнецова, с которым мы тоже сдружились и который в 1965 году дал мне рекомендацию. Ее могу считать своим художественным дипломом.

Это были люди русской и мировой культуры того времени. В то же время — внутренние

эмигранты. Кстати, многие из них побывали в эмиграции. Но все-таки возвратились в Россию. Мне повезло, что я встретил их на своем пути.

— *И вы стали создавать новый авангард?*

— Слово «авангард» тогда вообще не звучало. Это потом стали навешивать десятки «измов», а тогда мы просто были «поколением несолидных людей». Но мы не только посещали салоны, но и работали. Я говорил, что занимаюсь религиозной темой. Может, я пришел к ней, потому что из верующей семьи. Религиозная живопись была для меня альтернативой. Через Малевича, Кандинского я пришел к цветовому, то есть формальному, восприятию иконы как произведения искусства. Потом понял, что это — ритуал.

— *Вы разделяли тогда свое творчество на духовное и все остальное?*

— С самого начала чистая абстракция была для меня моментом входа. Я очень быстро проходил все школы живописи, буквально на бумажках. У меня до сих пор масса папок. А когда перешел на холсты, все это вылилось в одну работу «Колокольный звон». У меня было много друзей-музыкантов, которые дали ей такое название. Там была одна закорючка, и я понимал, конечно, что не случайно ее нарисовал, но только после «имянаречения» работы увидел, что это церковная маковка. И с той поры стал писать маковки, церковную архитектуру, то есть как бы выглядел современный храм.

Идея храма появилась у меня давно. Я от нее на некоторое время отказывался, потом снова возвращался. И сейчас появилась возможность построить Хрустальный Храм в Австралии. Он будет весь из витражей и посвящен идее «Страшного суда».

...Итак, я стоял у дверей храма. Занился реставрацией в Софийском соборе в Новгороде. Но работы над самой иконой еще не было, хотя уже увлекся библейскими сюжетами... Пока же я иллюстрировал книги: «Дон-Кихот», «Гамлет», «Иосиф и его братья».

Мои первые библейские сюжеты появились в начале 60-х. Во мне накапливалось нечто, и это можно было бы обозначить так: «Вариации на тему древнего русского искусства и архитектуры». Может, со временем я бы и вырос в нормального, хорошего иконописца, но уж очень мощной оказалась для меня волна современного искусства. У меня никогда не было «широкого зрителя». Я всегда работал за деньги, но никогда ради денег.

Но мне везло. Моя тема прижилась. Вокруг была интересная, умная публика, физики, устраивавшие мои выставки в Дубне, в МЭИ. Да, сначала картины покупали ученые, потом начали иностранцы и увозили к себе...

Но я все же вошел в храм. И еще много времени прошло, прежде чем я начал молиться. То есть это произошло, когда я уже писал иконы и религиозные вещи, а не работы на рели-



Борис Козлов. «Зеленый стол»

гнозную тему. Но иконописцы меня в свой круг не пустили.

У меня сложился свой стиль,

и, когда одно время спорили, что же делать с Козловым, моя знакомая сказала: «Дураки! Козлова подделать нельзя!» Если я выпускал четыре полот-

на в год, считал — хорошо. Жил же в основном за счет графики.

— Но ваши иконы? Церковь принимала их, освящала?

— Мне всегда казалось, что нужно знать психологизм святыни. Как говорил Достоевский, к вере нужно идти постепенно. Сейчас я пишу религиозные картины. Иконы тоже пишу, но это другое дело. Теперь у меня есть позволение, а также и осознание того, что иконе надо писать совсем иначе. Она должна быть в церкви или в домашнем киоте, и на нее нужно молиться.

Собственно, мой момент «выцерквления» начался с того, что один священник предложил написать икону. Я это сделал, но у него возникли сомнения: «Она очень яркая. Это, несомненно, икона и в то же время не икона». Ну кто нас мог рас судить? Худсовет? Церковный худсовет то же самое, что светский, только более спесив. Старец? Я понял, что именно старец может принять или не принять. И мы поехали к одному старцу в Троице-Сергиеву лавру, и он взял моего «Спаса» и... водрузил в красный угол. Там моя икона и осталась. Больше специально для церкви икон не делал. Мне стало ясно, что главное — просто освятить ее. Но я не бегаю за благословением к архимандриту. Мне достаточно сельского священника и возможности тихо помолиться в углу.

Потом написал «Владимирскую богородицу», и мой знакомый священник отец Алексей бросился на колени и закричал: «Она чудотворная». А я ответил: «Осторожно, она еще не высохла».

А еще была — «Восьмое дыхание да хвалит Господа». Ее видел Илия, патриарх Грузинский, ее видел католикос Вагжен, ее видел Тихон из Даниловского монастыря, все благословили, но никто не взял, и... икону купил один западногерманский миллионер.

— *Ваш последний триптих тоже религиозная работа?*

— Триптих очень странный. На самом деле это — тайная вечеря. У него интересная история. Недавно у меня появился ученик, который хочет освоить мою конструкцию. У него два высших образования, он — интерьерщик, но что-то такое русское, чистое в нем есть. А у нас возникла идея сделать витраж для конгрегационной церкви в Иерусалиме. Витраж — ал-



Борис Козлов. «Памяти, памяти...»

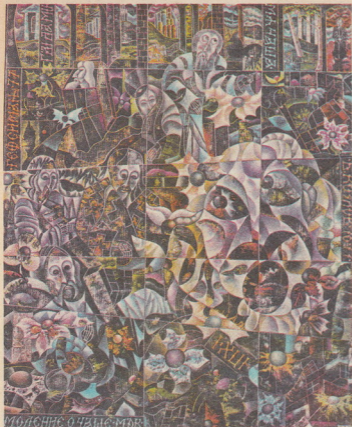
тарь. И в прошлом году мой ученик решил скопировать какой-нибудь мой картон... Вспомнил маленькую работу, которую я в свое время сделал для одного американца, эмигранта из Грузии. Он увез ее потом в США, и я представил, как она будет выглядеть в крупном масштабе. Для большей оригинальности я сделал акварель с темперой, с воском. Получилась «Тайная вечеря» с символами евангелистов, и назвал я ее «Свадьба Галилейская». Это еще момент праздника, и вместе с тем есть ощущение того, что произойдет.

Честно говоря, я сам еще полностью в триптихе не разобрался. Это мир, это исчезающие рамки, их можно надуть, это гибкая конструкция, которая выходит из формы картины.

— *А когда ваши картины увозят за границу, у вас не возникает чувства, что они утеряны безвозвратно?*

— Мой сын по этому поводу говорит, что самое главное в наших музеях — санитарный день, а самое интересное место — запасник, где работы гниют. Так пусть уж лучше мои на ветру где-нибудь проветрятся. Я считаю, что, если за них заплачено, и они где-то в мире, и хоть один человек видит их каждый день, — это уже хорошо.

Я делаю работу четыре месяца, а если на нее смотрят пять минут и оценивают — это несерьезно. Поэтому у меня принцип другой, принцип элитарности. Не думаю, что искусство должно принадлежать народу. Вообще не знаю, что такое народ и кому что должно принадлежать, видимо, тому, кому это надо. Тот пускай и сохранят.



Борис Козлов. «Моление о чаше»

— Но есть же корни? И многие наши художники в эмиграции отрываются от этих корней.

— Да нет их, корней. Вернее, они внутри. Знаю одно: что, погуляв немного по Парижу, я бы заперся опять в комнате и делал бы то же самое. А наши художники... Смотря кто за чем ехал. Ехать завоевывать Париж по меньшей мере глупо. Там своих нахлебников навало.

У каждого художника, если ему повезло, а мне, я считаю, повезло, вырабатывается какая-то своя конструкция или концепция (не люблю этого слова). Например, Пикассо видит «Менины» Веласкеса и делает их в своей конструкции, Стравинский слушает Моцарта и в своей конструкции пишет любую симфонию, вплоть до «Священной».

Художник может пользоваться природой и не может отойти от природы. Но есть другие художники, и я отношусь как раз к ним. Неизвестно, правда, к каким. Но моя тема очень богата, ведь богатство в самом христианстве.

Мне повезло. Я мало на кого похож. Меня иногда с Филоновым сравнивают, имея в виду, видимо, мою дробность, но Филонов — совсем другое. У него «космизм», у меня все идет «от живота». А приемы обычные, супрематистские.

— Когда мой приятель рассказывал о вас, он произнес: «Козлов на порядок выше Малевича!»

— Малевич абсолютно чужд мне. Я люблю его творчество, но не «Квадрат». Потому что, мне кажется, нужно быть «со сдвигом», чтобы сидеть и любоваться «Квадратом».

— А идея?

— Ну нельзя же часами си-

деть перед квадратом! Хочешь, сам нарисуй. А то все восхищаются. Хотя один известный музыкант сказал, что раньше существовало окно, а Малевич взял его и замазал.

...Жесткая конструкция — это разработка истока. Если говорить о Сезанне, которого я боготворю, то у него конструкции на всех хватит.

Все идет у меня к театру живописи. А то, что я взял религиозную тему, — это для меня продолжение жизни. Для меня и «Три доярки», и «Три женщины в голубом» все равно «Троица».

Я — романтик! Я не отвергаю концептуализм, но есть искусство. Есть оно, и есть космизм. Я не разделяю этих игр. У кого-то свои, а у меня свои игры. А о духовности — судить зрителю.

Иногда критики меня спрашивают: «О чем вы думали, когда писали это полотно?» А ни о чем! Или о чем угодно! Меня спрашивают: «А думали ли вы, что...» Нет, не думал! Я просто уже «за глаза» знаю, где что поставить.

Есть люди, которые занимаются живописью, есть люди, которые занимаются искусством. Я — искусством!

...Это не портрет, это попытка серии эскизов портрета Бориса Козлова. Он — супрематист нашего времени. Он удивительно талантлив и удивительно индивидуален. Он — гений?

Наталья Бекетова



От редакции. Вот еще одна судьба художника и его картин. Но в отличие от людей в данном случае на Запад эмигрируют картины. Какова будет их жизнь? И вернуться ли они когда-нибудь домой? Хорошо, если бы вернулись...

«Открылось мне все-таки там»

Я был свидетелем того, как на литературных вечерах в Политехническом музее Наум Коржавин читал стихи о Сталине, о «суровом жестком человеке, не понимавшем Пастернака», о репрессиях 1937 года:

Гуляли, целовались,
жили-были...
А между тем, гнусавя и рыча,
Шли в ночь
закрытые автомобили
И дворников будили по ночам.

За такие стихи в те времена полагалось как минимум немедленно отправиться в места длительного заключения. Ведь это был не 1990-й, а 1945 год...

Я написал об этом — и не только об этом — в одной из своих статей. Во время недавнего приезда в Москву Коржавин, прочитавший эту статью, сказал мне:

— Ну ты, Колятина (так он называл меня когда-то), сделал из меня совсем героя.

И застенчиво улыбнулся.

Но ведь если говорить серьезно, то разве он не был героем — осмелился ли тогда кто-нибудь не только написать, но и прочитать, да еще при немалой аудитории, что-то подобное?..

Коржавин был талантливым, умным, не по годам развитым, но ребенком, не умеющим ни скрыть, ни слухавить, ни солгать.

Влюбленный в русскую классику, в человечество нашей литературы, постоянно обращающийся к истории, он всегда мыслил масштабно, писал о главном, о ее судьбе, о ее вы-



ФОТО МИХАИЛА КАРАГАМБИЕВА

сокой роли, о совестливости, о многострадальности. И хотя сам он жил сверхбедно, а потом был выслан в Карагандинскую область, ни одного упрека в его стихах и выступлениях Родине нет. Напротив. Уже находясь в США, он писал:

...Сбежал я — как сдался на милость.
Гуляю по райским местам.
Но все, что мне в жизни открылось,
Открылось мне все-таки там:

И смысл, и сквозь горе людское
Цена и мечта, и беде.
А вместе — и нечто такое,
Что мне б не открылось нигде...

Думаю, что мой друг не обидится на меня, но я не отношу

его к тем первоклассным мастерам поэзии, которых единицы и у которых в стихах все или почти все до мелочей безукоризненно, каждое слово выверено и незаменимо. В стихах его можно найти и длинноты, и необязательные строки, а если говорить уж и совсем о поэтических мелочах, есть у него, скажем, и неважные рифмы.

Но в его стихах нет ни одного неискреннего слова, ни одного заигрывания с читателем, он предельно открытый человек чистойшей и честнейшей души.

Проживая за границей, он не может посмотреть на свою Родину как посторонний человек. О всех ее радостях и невзгодах, о труднейших временах, которые она переживает сейчас, он пишет как о своем, кровном, пишет, нисколько не отделяясь от нее. Да и при разговорах он прибегает только к одной форме: здесь у нас, у нас, у нас.

А ведь многие, уехавшие за границу, смотрят на нас уже свысока и говорят уже: у вас, у вас, у вас...

Мне понятно его желание вести семинар в Литературном институте: его литературная среда — здесь, его боли — здесь, его радости — здесь, его читатель — здесь. А не там, где ему, вероятно, живется вольготнее и легче материально. Но об этой жизни он все-таки сказал:

Где медленно я подыхаю
В прекрасном своем далеке.

Сказано это горько и по-честному, и хорошо, что без плевков в ту сторону. Он не хочет и не может быть неблагодарным за приют.

Но есть у него и другая, более высокая благодарность — Родине:

И здесь, в этой призрачной жизни,
Я б, верно, не выжил и дня
Без дальней жестокой отчизны,
Наполнившей смыслом меня...
Николай Старшинов

Наум Коржавин

Стихи о детстве и романтике

Гуляли, целовались, жили-были...
 А между тем, гнусавя и рыча,
 Шли в ночь закрытые автомобили
 И дворников будили по ночам.
 Давил на кнопку, не стесняясь, палец,
 И вдруг по нервам прыгала волна...
 Звонок урчал... И дети просыпались,
 И вскрикивали женщины со сна.
 А город спал. И напевать влюбленным
 На яркий свет автомобильных фар,
 Пока цветут акации и клены,
 Роняя аромат на тротуар.
 Я о себе рассказывать не стану —
 У всех поэтов ведь судьба одна...
 Меня везде считали хулиганом,
 Хотя я за жизнь не выбил ни окна...
 А южный ветер навевает смелость.
 Я шел, бродил и не писал дневник,
 А в голове крутилось и вертелось
 От множества революционных книг.
 И я готов был встать за это грудью,
 И я поверить не умел никак,
 Когда насквозь неискренние люди
 Нам говорили речи о врагах...
 Романтика, растоптанная ими,
 Знамена запыленные — кругом...
 И я бродил в акациях, как в дыме.
 И мне тогда хотелось быть врагом.
 30.12.44

На смерть Сталина

Все, с чем Россия
 в старый мир врывалась,
 Так, что казалось, что ему пропасть,—
 Все было смято... И одно осталось:
 Его
 неограниченная
 власть.
 Ведь он считал,
 что к правде путь —
 тяжелый.
 А власть его
 сквозь ложь
 к ней приведет.
 И вот он — мертв.
 До правды не дошел он,
 А ложь кругом трясиной нас сосет.
 Его хоронят громко и поспешно,
 Ораторы,
 на гроб кося глаза,
 Как будто может он
 из тьмы кромешной

Вернуться,
 все забрать
 и наказать.
 Холодный траур,
 стиль речей —
 высокий.
 Он всех давил
 и не имел друзей...
 Я сам не знаю,
 злым иль добрым роком
 Так много лет
 он был для наших дней.
 И лишь народ
 к нему не посторонний,
 Что вместе с ним
 все время трудно жил,
 Народ
 в нем революцию
 хоронит,
 Хотя, может, он того не заслужил.
 В его поступках
 лжи так много было,
 А свет знамен
 их так скрывал в дыму,
 Что сопоставить это все
 не в силах —
 Мы просто
 слепо верили ему.
 Моя страна!
 Неужто бестолково
 Ушла, пропала вся твоя борьба?
 В тяжелом, мутном взгляде Маленкова
 Неужто нынче
 вся твоя судьба?
 А может, ты поймешь
 сквозь муки ада,
 Сквозь все свои кровавые пути,
 Что слепо верить
 никому не надо
 И к правде ложь
 не может привести.
 1953

Ленинград

Он был рожден имперской стать столицей.
 В нем этим смыслом все озарено.
 И он с иною ролью примириться
 Не может.
 И не сможет все равно.
 Он отдал дань надеждам и страданиям.
 Но прежний смысл в нем все же не ослаб.
 Имперской власти не хватает зданьям,
 Имперской властью грезит Главный Штаб.
 Им целый век в иной эпохе прожит.
 А он грустит, хоть эта грусть — смешна.
 Но камень изменить лица не может —
 Какие б ни настали времена.
 В нем смысл один — неистребимый, главный,
 Как в нас всегда одна и та же кровь.
 И Ленинграду снится скиптр державный,—
 Как женщине покинутой —
 любовь.
 1960

Сплетения

(Отрывок)

Но все-таки, все-таки, все же
Спасибо, что жил я, как жил.

Спасибо, что, страхи и крики
Презрев, как обычный скандал,
Тот предок мой все свои книги
В местечке родном дочитал.

Что всякой враждебен стихии,
И, зная, что значит погром,
Он все ж не сбежал из России...
Что я в ней родился потом.

Не странно ль? Сбежав за границу,
Держась за последний причал,
Я рад, что мне вышло родиться
В стране, из которой сбежал.

Но все — и причастие к небу,
И к правде пристрастие мое
(За что и гоним был нелепо,
И изгнан) — во мне от нее.

И счастлив я, — даже тоскуя, —
Что я не менял, как во сне,
Отчизны — одну на другую,
Равно безразличную мне.

А жил, как положено, — дома,
На родине, с нею не врозь,
И резал ножом по живому,
Когда расставаться пришлось.

И здесь, в этой призрачной жизни,
Я б, верно, не выжил ни дня
Без дальней жестокой отчизны,
Наполнившей смыслом меня.

...Сбежал я — как сдался на милость.
Гуляю по райским местам.
Но все, что мне в жизни открылось,
Открылось мне все-таки там:

И смысл, и сквозь горе людское
Цена и мечта, и беде.
А вместе — и нечто такое,
Что мне б не открылось нигде.

С чем — как в остальном ни упорствуй,
Как все ни ломай рубежи, —
Высокое — буднично-просто
И лечит от выдумок лжи.

Все это — куда б я ни прибыл, —
До смерти носить мне в себе.
Спасибо, спасибо, спасибо,
Спасибо за это судьбе.

Пусть дома наветы и гимны,
И суетность там же, где высь.
И, может, Россия погибнет,
Не тем занята, чтоб спастись.

И, может, озлясь бестолково,
Она еще в страшный свой год
Меня оттолкнет, как чужого,
От жизни моей оттолкнет.

И рухну, обиженный ею,
Шепча ей стихи, как письмо...
Пусты!..

Если она уцелеет,
То все утрясется само.

Уладится то, что не ладно,
Излечится боль в тишине...
...А если погибнет — не надо
Самой справедливости мне.

Россия! Да минет нас это!
Опомнись! Вернись в колею! —
Кричу я... Но нет мне ответа.
Да что там!.. Весь мир — на краю...

Туманы подмен у подножья,
В нирване Нью-Йорк и Париж.
А сверху, как с Эты безбожья,
Ты всем изверженьем грозишь...

Как раньше... Хоть прежнего пыла
Уже воскресить не дано.
Хоть *все*, для чего ты грозила,
Сама ты презрела давно.

В том нет уже даже безбожья —
Ленивый развал бытия.
Как пеплом, завалена ложью
Там поздняя мудрость твоя.

И все — за броней... Не увидеть
Твой свет сквозь брони толщину.
И будут тебя ненавидеть
За все, у чего ты в плену.

И может, озлишься ты тоже
В ответ — не оставшись в долгу...
И чем это кончится, Боже,
Узнать я уже не смогу.

Но, зная о будущем мало
И веря не слишком в зарю,
За то, что ты жизнью мне стала,
«Спасибо судьбе!» — говорю.

За бледные тропки в тумане,
Паденья, которых не счесть,
За ту остроту пониманья,
С которой непросто и здесь.

Где радостно пляшут у края,
Не веря глазам и тоске.
Где медленно я подыхаю
В прекрасном своем далеке.
31.01.80



ДОКУМЕНТ НОМЕРА

Политический пророк?

К возвращению в отечественную историю и культуру Владимира Винниченко

Что мы знали о Владимире Винниченко до недавних (год-два тому) пор? Меньше — что это небезаламанный украинский писатель, но запрещенный к изданию и изучению как в родной республике, так и в целом у нас в стране. Больше — что он, пожалуй, самое что ни на есть знамя «украинского буржуазного национализма». За что и был запрещен, на десятилетия вычеркнут из истории, и не только как литератор. То, что мы предлагаем вашему вниманию сегодня, написано Владимиром Винниченко в (трудно поверить!) 1920 году. Это фрагменты из «Письма к классово-несознательной украинской интеллигенции» и «Письма Заграничной группы Украинской коммунистической партии к коммунистам и революционным социалистам Европы и Америки».

Выдержки из писем представляют неизвестные нам ранее взгляды Винниченко-политика. Но в той же мере мы почти не знаем его как философа, историка, художника... Подробный разговор о личности и судьбе Владимира Винниченко читайте в следующих номерах нашего журнала.

Генеральный секретариат Украинской Народной Республики (1918 год). Сидят (слева направо): Иван Стешенко, генеральный секретарь просвещения, Христофор Барановский, генеральный секретарь финансовых дел, Владимир Винниченко, председатель Генерального секретариата и генеральный секретарь внутренних дел, Сергей Ефремов, генеральный секретарь межнациональных дел, Симон Петлюра, генеральный секретарь военных дел; стоят (слева направо): Павел Христюк, генеральный писарь, Микола Стасюк, генеральный секретарь пищевых дел, Борис Маргос, генеральный секретарь земледелия.

Владимир Винниченко

Противники социализма уверяют, что моя принадлежность к коммунистическому мировоззрению носит временный, неискренний, тактический характер.

Я хочу перво-наперво исправить неточность... С 1902 года я считаю себя социалистом. Восемнадцать лет я имел те убеждения, что социальное неравенство есть корень всякого зла в современном обществе. С 1902 года я стал на путь борьбы с этим злом, пребывая постоянно в социалистической организации, разделяя все следствия борьбы с существующим строем... В литературных, художественных и политических рабо-

тах я всегда в меру собственных сил пытался бороться с буржуазным миром, с его политическими установками... Нынешние мои убеждения в основе, в сути своей ничем не изменились.

Революция, особенно октябрьская, пролетарская революция 1917 г. в России давала возможность социалистам сгармонизировать себя, соединить в действие свои теоретические убеждения, *стать цельными и настоящими социалистами.* Но украинским социалистам помешал национальный вопрос, неправильная формулировка его как ими, так и русскими социалистами. Борьба за национальные устремления приостановила социальную гармонизацию.

*Владимир Винниченко.
В эмиграции. Фото из архива.*



цию. Ошибки в национальном вопросе, как с одной, так и с другой стороны, привели к внутренней дисгармонии души украинского социалиста...

...Коммунизм — не только политическая теория, это не то, что зовется «политикой». Коммунизм есть философия всей жизни человека, класса и всего общества в самых крупных и самых мелких их актах. Коммунизм охватывает решительно все стороны человеческого существования и его существования на каждом шагу. Коммунизм есть высшая гармония психических и физических сил человека, та «честность с собой», та последовательность и цельность, которую я силился пропагандировать и которую сам не смог соблудить, когда на меня нахлынула волна национальной революции. Я не имел сил принять эту волну и удержать равнове-

сие и гармонию всех сил, волн в своей душе.

И вот именно в этом была моя ошибка, моя слабость. Отсюда тоже ясно, что те, кто считает возможным принимать коммунизм на время, не понимают, не знают, что такое коммунизм.

Некоторые искренне считают, что коммунизм противоположен национальному освобождению... Такой взгляд тоже ошибка, он результат незнания сути коммунизма, это близорукость людей, которые видят ближние, поверхностные несущественные явления и не могут выводить железно-логичных, неизбежных консеквенций. Коммунизм есть такое учение, такое действие, такой строй, который безусловно, неизбежно ведет к целостному органическому изменению не только социального устройства, но и людей... *Именно коммунизм не позволяет господства нации над нацией.*

Поклонники и защитники проводника российской революции, Российской Коммунистической Партии, пытаются объяснить почти все негативные явления в России главным образом блокадой западноевропейского империализма и контрреволюцией...

С другой стороны, контрреволюционеры разных социально-политических оттенков, начиная от социал-патриотов и заканчивая реакционным черносотенством, пытаются именно коммунизм и систему советской власти представить единственной причинной тяжелого экономического состояния России и Украины и недовольствия народных масс...

Коммунисты же различными образами и средствами пытаются отрицать эти факты, скрывать их от мира, замалчивать.

Но дело не в тех или иных явлениях, а в причинах их. И здесь необходимо отчетливо определить, что одна из причин этих явлений есть не в том, что в России происходит социалистическая революция и существует советская власть, а в том, что *эта революция там костенеет, отмирает, не развивается, а чахнет, что именно советской власти там уже почти нет.*

Характерным, вопиющим явлением российской революции на современном ее периоде есть внутреннее противоречие между декларированной коммунистической программой и формами и методами ее осуществления, которые зачастую целиком пребывают в противоречии собственно с духом коммунизма и выступают тормозящим и регрессивным фактором революции.

Речь не о немедленном осуществлении «социалистического рая» в таких аграрных странах, каковыми есть Россия и Украина, к тому же уничтоженных и разрушенных мировой резней народов. Нет! Истоки этого противоречия собственно в организованной, человеческой воле, воле тех, кого исторические условия вынесли на самый ответственный пост перед историей, перед пролетариатом всех народов и прежде всего перед собственным пролетариатом.

Социалистическая революция осуществляется только тогда с успехом для социализма, когда развитие ее отвечает этому кардинальному условию: *изменению материальных условий человеческого общества должно отвечать соответствующее изменение его психического бытия.*

Без соответствующего развития этого психического бытия у трудящихся масс процесс материальной социализации общества попадает в самой своей основе под угрозу, тем самым под угрозу попадает собственно и социалистическая революция.

Российская Коммунистическая Партия, захватив в октябре 1917 года политическую власть, первой своей задачей определила уничтожить весь аппарат буржуазного государства, уничтожить экономически буржуазию и провести социализацию продукции. Это была колоссальная, историческая задача ее. Эту задачу в определенной мере она выполнила.

Но какая колоссальная разница между начальной стадией социалистической революции в России (1917, 1918 и частично 1919) и нынешней, которая началась с того момента, как значение и сила советов упали, а их место заняли абсолютный

централизм и система так называемого «единоличия»!

При равных условиях развития революции был тогда среди рабочих масс... и связанной с ним всеми своими интересами интеллигенции тот святой заповедь и воодушевление, которое охватывают человека, пересеченного только великой идеей, такой идеей, что и умереть за нее сладостно.

Какая же отличительная картина социалистической революции в России и на Украине теперь!

...Когда подойти к внимательному и объективному анализу... политики и тактики Российской Коммунистической Партии, то здесь и определится то вопиющее противоречие между целью и методами и способами ее осуществления, которое сейчас особо бросается в глаза.

Коллективизм есть основа коммунистического учения, коммунистического хозяйства, коммунистической психики. Коммунизм отрицает святость авторитетов, доминирующую роль личностей в истории, индивидуализм и абсолютизм в деятельности людей. Но каждому известно, что никогда еще в России святость авторитетов не возносилась так высоко, не подерживалась так безоговорочно, как коммунистической партией в России, никогда, кажется, критика и сомнение в непогрешимости личностей не запрещались и не наказывались так, как запрещаются и наказываются в России. Индивидуализм и абсолютизм являются признанными, одобренными методами организации революционных сил; «единоличие» в партии, в органах власти, управления и хозяйства, низведение коллективов к роли статистов при индивидуумах есть нормальное явление в современной России и на Украине.

Из-за этих методов рабочие массы в революции не втягиваются, они являются пассивным материалом, которым авторитарно оперирует небольшая группа людей... Видя пример партийных ответственных работников, которые не подлежат в своей деятельности никакому контролю со стороны коллектива и не несут ответствен-

ности перед ним, видя, как одобренное «единоличие» несет с собой привилегии личностям, массы теряют уважение к самой идее коллективности, в них начинает развиваться персональный эгоизм, стремление к захвату как можно больших ценностей для себя.

Такое же нередкое явление, когда широкие массы ко всяким лозунгам, призывам, заявлениям, прокламациям относятся со скептическим предостережением: «Э, это уже давно слышим, а что именно правда, то неизвестно». И легко себе представить, как игнорирование «правдой», то есть согласием, гармонизацией формул с действиями, вносит разлад в этику средних людей, как ослабляет их волю и готовит из них обычных социальных паразитов и лицемеров.

Массы инстинктом впитывают тенденции той или иной политики и соответственно реагируют. А современные тенденции не обещают им ни равенства, ни справедливости. Они видят, что коммунисты-комиссары берут взятки, воруют, роскошествуют, живут, как «буржуи», а рабочие трудятся, голодают, бедствуют. И чем дальше, тем эти тенденции увеличиваются, укореняются, зарождаются будто какая-то новая буржуазия — «совбурия» (советская буржуазия), будто новый класс угнетателей, который живет с рабочей сверхстоимости, который своим существованием и социальным состоянием фактически затапывает идею уничтожения господства паразитирующих классов. Какая же разница между прежними царскими взяточниками и паразитами-чиновниками и коммунистами-комиссарами, «совбурами»?

Такова действительная картина революции в России и на Украине... Там ни диктатуры пролетариата, ни диктатуры партии нет, там есть диктатура личностей, авторитетов, небольшого абсолютного центра. Партия как таковая не является партией в обычном понимании этого слова. Ни течений, ни направлений в ней нет, кроме направлений авторитетов. Любые попытки творить что-то новое, бороться за новые методы хотя бы внутри партии бюро-

кратически наказываются. Ни свободы слова, ни свободы собраний в партии нет.

Идеологи таких методов тактики аргументируют их революционной целесообразностью и необходимостью — «иначе невозможно»... Только силой железного кулака и военной дисциплиной можно удерживать в целостности и партию и власть. Из-за этого, дескать, и подлинной власти советов допускать нельзя, и в самой партии всякую «ересь» нужно решительно убивать.

На наш взгляд, это — признание в невозможности вообще социалистической революции в России. Но тогда следует это честно, громко, откровенно признать, сдать свои позиции и не приносить лишних жертв.

Не только «возможно иначе», а необходимо и нужно иначе. Не массы виноваты, а политика партийных вождей. Если бы эта политика была иной, если бы Российская Коммунистическая Партия была действительно живым, творческим организмом, плотью от плоти рабочих, массы с энтузиазмом шли бы за ней, верили ей, созидали революцию вместе с ней.

В заявлениях и декларациях проводников современного курса

коммунистической политики часто говорится, что в России осуществляется и существует *подлинная демократия*, рабоче-крестьянская. К сожалению, это только хорошие заявления, которые создают вполне ложную действительность.

Система абсолютного централизма, на мой взгляд, есть один из факторов, которые ослабляют и даже тормозят силы революции в России и на Украине. Всякую праведную идею, сказал Ленин, превеличением можно привести к абсурду, к бессмыслице. Вполне справедливо, что силы революции должны быть сконцентрированы и централизованы. Но какими методами? Руководители Р.К.П. избрали метод абсолютного централизма, который исключает метод демократизма. Этим достиглось то, что руководящая революцией партия из живого, творческого организма снизошла к большой, слепой машине, которой руководит небольшая группа людей. Принципом назначения ответственных руководителей партийных организаций и игнорированием принципа выборности приведено к тому, что в партии исчезло чувство ответственности перед коллективом, а вместо него воцарилась бюро-

кратическая подчиненность одного правителя другому, вышестоящему.

Защитниками этой политики восхваляется созданная таким методом «железная дисциплина» в партии. Но следует честно сознаться, что... не столько из убеждений, преданности делу, веры в необходимость самопожертвования исходит эта дисциплина, сколько из страха наказания или желания «выслушаться». Не столько дисциплина партии, сколько дисциплина канцелярии и казармы.

Принцип абсолютизма лежит в основе государственной политической, экономической, национальной и всякой иной политики. Отсюда происходит и принцип «единоличия», бюрократизации и милитаризации всех советских учреждений, предприятий и всей власти... «Советской власти» как таковой власти советов в советской России и на Украине почти нет.

*Перевод с украинского
Ярослава Микуляка*

Вече



В № 35 за 1989 год альманаха «Вече», издаваемого Российским Национальным Объединением в ФРГ, говорится о том, что в Москве начинает действовать редакция групп.

А вот еще сообщение редакции своим читателям: «Тесные связи с родиной осуществлялись альманахом «Вече» с самого начала его существования, и на его страницах опубликовано немало материалов, присланных из России. Само название нашего издания подчеркивает его соборность, то есть открытость для любого русского патриота, желающего принять участие в обсуждении наших национальных проблем. Однако сейчас, в связи с перестройкой и гласностью, нам удалось сделать связь с родиной более регулярной и деловой, создав соредакцию «Ве-

че» в пределах отечества. Мы не сомневаемся, что это откроет нам новые пласты авторов, подымет альманах на новый уровень, как по форме, так и по содержанию».

Ну а если у вас возникло желание сотрудничества с альманахом, то обращайтесь к ответственному соредктору «Вече» в Москве — Виктору Николаевичу Тростникову по адресу: 119504, Москва, Веерная ул., д. 40, корп. 1, кв. 174; телефон: 442-07-16.

Стоимость подписки на «Вече» на один год в СССР вместе с «Литературным приложением» — 60 рублей. Подписчикам в СССР «Вече» посылается заказной бандеролью.

*Заявки на подписку посылать
Тростникову В. Н.*



Лев Ланин. «Сидящая девушка». 1928—1932 гг.
4000—6000 английских фунтов стерлингов

Призрак Александра Вольфа

Гайто Газданов

Роман¹

Из всех моих воспоминаний, из всего бесконечно-количества ощущений моей жизни, самым тягостным было воспоминание об единственном убийстве, которое я совершил. С той минуты, что оно произошло, я не помню дня, когда бы я не испытывал сожаления об этом. Никакое наказание мне никогда не угрожало, так как это случилось в очень исключительных обстоятельствах и было ясно, что я не мог поступить иначе. Никто, кроме меня, вдобавок, не знал об этом. Это был один из бесчисленных эпизодов гражданской войны; и в общем ходе тогдашних событий это могло рассматриваться, как незначительная подробность, тем более, что в течение тех нескольких минут и секунд, которые предшествовали этому эпизоду, его исход интересовал только нас двоих, — меня и еще одного, неизвестного мне, человека. Потом я остался один. Больше в этом никто не участвовал.

Я не мог бы точно описать то, что было до этого, потому что все проходило в смутных и неверных очертаниях, характерных почти для всякого боя каждой войны, участники которого меньше всего представляют себе, что происходит в действительности. Это было летом, на юге России; шли четвертые сутки непрерывного и беспорядочного движения войск, сопровождавшегося стрельбой и перемещающимися боями. Я совершенно потерял представление о времени, я не мог бы даже сказать, где именно я тогда находился. Я помню только те ощущения, которые я испытывал и которые могли бы иметь место и в других обстоятельствах, — чувство голода, жажды и томительной усталости; я не спал перед этим две с половиной ночи. Стоял сильный зной, в воздухе колебался слабешущий запах дыма; час тому назад мы вышли из леса, одна сторона которого горела, и там, куда не доходил солнечный свет, медленно ползла огромная палевая тень. Мне смертельно хотелось спать, мне казалось тогда, что самое большое счастье, какое только может быть, это остановиться, лечь на выжженную траву и мгновенно заснуть, забыв обо всем решительно. Но именно этого нельзя было делать, и я продолжал идти сквозь горячую и сонную муть, изредка глотая слону и протирая время от времени воспаленные бессонницей и зноем глаза. Я помню, что когда мы проходили через небольшую рощу, я

на секунду, как мне показалось, прислонился к дереву и стоя заснул под звуки стрельбы, к которому я давно успел привыкнуть. Когда я открыл глаза, вокруг меня не было никого. Я пересек рощу и пошел по дороге, в том направлении, в котором, как я полагал, должны были уйти мои товарищи. Почти тотчас же меня перегнал казак на быстром, гнедом коне, он махнул мне рукой и что-то невнятно прокричал. Через некоторое время мне повезло найти худую вороную кобылу, хозяин которой был, по-видимому, убит. На ней была уздечка и казачье седло; она щипала траву и беспрестанно обмахивалась своим длинным и жидким хвостом. Когда я сел на нее, она сразу пошла довольно резвым карьером.

Я ехал по пустынной, извивающейся дороге; изредка попадались небольшие рощицы, скрывавшие от меня некоторые ее изгибы. Солнце было высоко, воздух почти звенел от жары. Несмотря на то, что я ехал быстро, у меня сохранилось неверное воспоминание о медленности всего происшедшего. Мне по-прежнему так же смертельно хотелось спать, это желание наполнило мое тело и мое сознание, и от этого все казалось мне томительным и долгим, хотя в действительности, конечно, не могло быть таким. Боя больше не было, было тихо; ни позади, ни впереди меня я не видел никого. И вот, на одном из поворотов дороги, загнibaвшейся в этом месте почти под прямым углом, моя лошадь тяжело и мгновенно упала на всем скаку. Я упал вместе с ней, в мягкое и темное — потому что мои глаза были закрыты, — пространство, но успел высвободить ногу из стремени и почти не пострадал при падении. Пуля попала ей в правое ухо и пробила голову. Поднявшись на ноги, я обернулся и увидел, что не очень далеко к мной, тяжелым и медленным, как мне показалось, карьером, ехал всадник на огромном белом коне. Я помню, что у меня давно не было винтовки, я, наверное, забыл ее в роще, когда спал. Но у меня оставался револьвер, который я с трудом вытаскил из новой и тугой кобуры. Я простоял несколько секунд, держа его в руке; было так тихо, что я совершенно отчетливо слышал сухие вспыхивания копты по растрескавшейся от жары земле, тяжелое дыхание лошади и еще какой-то звон, похожий на частое встряхивание маленькой связки металлических колец. Потом я увидел, как всадник бросил поводья и вскинул к плечу винтовку, которую до тех пор держал наперевес. В эту секунду я выстрелил. Он дернулся в седле, сполз с него и медленно упал на землю. Я оставался неподвижно там, где стоял, рядом с трупом моей лошади, две или три минуты. Мне все так же хотелось спать, и я продолжал ощущать ту же томительную усталость. Но я успел подумать, что не знаю, что ждет меня впереди и долго ли еще буду жив, — и неудержимое желание увидеть, кого я убил, заставило меня двинуться с места и подойти к нему. Ни одно расстояние, никогда и нигде, мне не было так трудно пройти, как эти пятьдесят или шестьдесят метров, которые отделяли меня от упавшего всадника; но я все-таки шел, медленно переставляя ноги по растрескавшейся, горячей земле. Наконец я приблизился к нему вплотную. Это был человек лет двадцати двух, двадцати трех; шапка его отлетела в сторону, белокурая его голова, склоненная набок, лежала на пыльной дороге. Он был довольно красив. Я наклонился над ним и увидел, что он умирает, пузыри розовой пены вскакивали

¹ В тексте сохраняются некоторые особенности авторской орфографии и пунктуации.

и допались на его губах. Он открыл свои мутные глаза, ничего не произнес и опять закрыл их. Я стоял над ним и смотрел в его лицо, продолжая держать немощными пальцами ненужный мне теперь револьвер. Вдруг легкий порыв жаркого ветра донес до меня издали едва слышный топот нескольких лошадей. Я вспомнил тогда об опасности, которая могла мне еще угрожать. Белый конь умирающего, настороженно подняв уши, стоял в нескольких шагах от него. Это был огромный жеребец, очень выхоленный и чистый, с чуть потемневшей от пота спиной. Он отличался исключительной резвостью и выносливостью; я продал его за несколько дней до того, как покинул Россию, немецкому колонисту, который снабдил меня большим количеством провизии и заплатил мне крупную сумму ничего не стоящих денег. Револьвер, из которого я стрелял, — это был прекрасный парабеллум, — я выбросил в море, и от всего этого у меня не осталось ничего, кроме тягостного воспоминания, которое медленно преследовало меня всюду, куда заносила меня судьба. По мере того, однако, как проходило время, оно постепенно тускло и почти утратило под конец свой первоначальный характер непоправимого и жгучего сожаления. Но все-таки забыть это я никогда не мог. Много раз, — независимо от того, происходило ли это летом или зимой, на берегу моря или в глубине европейского континента, — я, не думая ни о чем, закрывал глаза, и вдруг, из глубины моей памяти опять возникал этот знойный день на юге России, и все мои тогдашние ощущения с прежней силой возвращались ко мне. Я видел снова эту розово-серую, громадную тень лесного пожара и медленное ее смещение в треске горящих сучьев и ветвей, я чувствовал эту незабываемую, томительную усталость и почти непреодолимое желание спать, беспощадный блеск солнца, звенящую жару, наконец, немое воспоминание моих пальцев правой руки о тяжести револьвера, ощущение его шероховатой рукоятки, точно навсегда отпечатавшееся на моей коже, легкое покачивание черной мушки перед моим правым глазом — и потом, эта белокуряя голова на серой и пыльной дороге и лицо, измененное приближением смерти, той самой смерти, которую именно я, секунду тому назад, вызвал из неведомого будущего.

В те времена, когда это происходило, мне было шестнадцать лет — таким образом, это убийство было началом моей самостоятельной жизни, и я даже не уверен в том, что оно не наложило невольного отпечатка на все, что мне было суждено узнать и увидеть потом. Во всяком случае обстоятельства, сопровождавшие его, и все, что было с ним связано, — все возникло передо мной с особенной отчетливостью через много лет, в Париже. Это случилось потому, что мне попал в руки сборник рассказов одного английского автора, имени которого я до тех пор никогда не слышал. Сборник назывался «Я приду завтра» — «I'll Come Tomorrow» — по первому рассказу. Их всего было три: «Я приду завтра», «Золотые рыбки», и «Приключение в степи», «The Adventure in the Steppes». Это было очень хорошо написано, особенно замечательны были — упругий и безошибочный ритм повествования и своеобразная манера видеть вещи не так, как их видят другие. Но ни «Я приду завтра», ни «Золотые рыбки» не могли, однако, возбудить во мне никакого личного интереса, кроме того, который был есте-

ственен для всякого читателя. «Я приду завтра» был иронический рассказ о неверной женщине, о неудачной ее лжи и о тех недоразумениях, которые за этим последовали. «Золотые рыбки» — действие происходило в Нью-Йорке — это был, собственно говоря, диалог между мужчиной и женщиной и описание одной музыкальной мелодии; горничная забыла снять небольшой аквариум с центрального отопления, рыбки выскакивали из очень нагретшейся воды и билась на ковре, умирая, а участники диалога этого не замечали, так как она была занята игрой на рояли, а он — тем, что слушал ее игру. Интерес рассказа заключался в введении музыкальной мелодии, как сентиментального и неопровержимого комментария и невольного участия в этом бьющихся на ковре золотых рыбок.

Но меня поразила третья рассказка: «Приключение в степи». Эпиграфом к нему стояла строка из Эдгара По: «Beneath me lay my corpse with the arrow in my temple»¹. Этого одного было достаточно, чтобы привлечь мое внимание. Но я не могу передать чувства, которое овладевало мной по мере того, как я читал. Это был рассказ об одном из эпизодов войны; он был написан без какого бы то ни было упоминания о стране, в которой это происходило, или о национальности его участников, хотя, казалось бы, одно его название «Приключение в степи», указывало на то, что это, как будто, должно было быть в России. Он начинался так:

«Лучшая лошадь, которая мне когда-либо принадлежала, был жеребец белой масти, полукровка, очень крупных размеров, отличавшийся особенно размашистой и широкой рысью. Он был настолько хорош, что мне хотелось бы его сравнить с одним из тех коней, о которых говорится в Апокалипсисе. Это сходство, вдобавок, подчеркивалось тем, — для меня лично, — что именно на этой лошади я ехал карьером навстречу моей собственной смерти, по раскаленной земле, в одно из самых жарких лет, какие я знал за всю мою жизнь».

Я нашел там точное восстановление всего, что я переживал в далекие времена гражданской войны в России, и описание этих невыносимо жарких дней, когда происходили наиболее длительные и наиболее жестокие бои. Я дошел, наконец, до последних страниц рассказа; я читал их с почти остановившимся дыханием. Там я узнал мою вороную кобылу и тот поворот дороги, на котором она была убита. Человек, от лица которого велся рассказ, был убежден сначала, что всадник, упавший вместе с лошадью, был по меньшей мере тяжело ранен, — так как он стрелял два раза и ему казалось, что он оба раза попал. Я не понимаю, почему я заметил только один выстрел. «Но он не был убит, ни даже, по-видимому, ранен, — продолжал автор, — потому что я видел, как он поднялся на ноги; в ярком солнечном свете я заметил, как мне показало, темный отблеск револьвера в его руке. У него не было винтовки, это я знаю наверняка».

Белый жеребец продолжал идти своим тяжелым карьером, приближаясь к тому месту, где с непонятной, как писал автор, неподвижностью, парализованным, быть может, страхом, стоял человек с револьвером в руке. Потом автор задержал стремительный ход коня и приложил винтовку к плечу, но

¹ Подо мной лежит мой труп со стрелой в виске. (Пер. с англ. подстрочный.)

вдруг, не услышав выстрела, почувствовал смертельную боль неизвестно где и горячую тьму в глазах. Через некоторое время сознание вернулось к нему на одну короткую и судорожную минуту, и тогда он слышал медленные шаги, которые приближались к нему, но все мгновенно опять провалилось в небытие. Еще через какой-то промежуток времени, находясь уже почти в предсмертном бреду, он, непонятно как, почувствовал, что над ним кто-то стоит.

«Я сделал нечеловеческое усилие, чтобы открыть глаза и увидеть, наконец, мою смерть. Мне столько раз снилось ее страшное, железное лицо, что я не мог бы ошибиться, я узнал бы всегда эти черты, знакомые мне до мельчайших подробностей. Но теперь я с удивлением увидел над собой юношеское и бледное, совершенно мне неизвестное лицо с далекими и сонными, как мне показалось, глазами. Это был мальчик, наверное, четырнадцати или пятнадцати лет, с обыкновенной и некрасивой физиономией, которая не выражала ничего, кроме явной усталости. Он простоял так несколько секунд, потом положил свой револьвер в кобуру и отошел. Когда я снова открыл глаза и в последнем усилии повернул голову, я увидел его верхом на моем жеребце. Потом я опять лишился чувств и пришел в себя только много дней спустя, в госпитале. Революрная пуля пробила мне грудь на полсантиметра выше сердца. Мой апокалиптический конь не успел донести меня до самой смерти. Но до нее, я думаю, оставалось очень недалеко, и он продолжал это путешествие, только с другим всадником на спине. Я бы дорого дал за возможность узнать, где, когда и как они оба встретили смерть и пригодился ли еще этому мальчику его револьвер, чтобы выстрелить в ее призрака. Я, впрочем, не думаю, чтобы он вообще хорошо стрелял, у него был не такой вид; то, что он попал в меня, было, скорее всего, случайно, но, конечно, я был бы последним человеком, который бы его в этом упрекнул. Я не сделал бы этого еще и потому, что, я думаю, он, наверное, давно погиб и растворился в небытии, — верхом на белом жеребце, — как последнее видение этого приключения в степи».

Для меня почти не оставалось сомнений, что автор рассказа и был тем бледным и неизвестным человеком, в которого я тогда стрелял. Объяснить полное сходство фактов со всеми их характерными особенностями, вплоть до масти и описания лошадей, только рядом совпадений, было, мне казалось, невозможно. Я еще раз посмотрел на обложку: «*If I Come Tomorrow*», by Alexander Wolf. Это мог быть, конечно, псевдоним. Но это меня не останавливало; мне хотелось непременно встретиться с этим человеком. Тот факт, что он оказался английским писателем, был тоже удивителен. Правда, Александр Вольф мог быть моим соотечественником и достаточно хорошо владеть английским языком, чтобы не прибегать к помощи переводчика, это было самое вероятное объяснение. Во всяком случае, я хотел выяснить все это во что бы то ни стало, потому что, в конце концов, я был связан с этим человеком, не зная его совершенно, слишком давно и слишком прочно, и воспоминание о нем прошло сквозь всю мою жизнь. По его рассказу, к тому же, было ясно, что он должен был питать ко мне почти такой же интерес, именно оттого, что «Приключение в степи» имело очень важное значение в его существовании и, наверное, предопределило его судьбу еще в большей степени, чем мое воспоминание о нем предопределило ту неисчезающую тень, которая омрачала много лет моей жизни.

Я написал ему письмо на адрес лондонского издательства, выпустившего его книгу. Я излагал те факты, которые ему были неизвестны, и просил его ответить мне, где и когда мы могли бы с ним встретиться, — если, конечно, это свидание интересно ему так же, как меня. Прошел месяц, ответа не было. Было возможно, конечно, что он бросил мое письмо в корзину, не читая, но так или иначе, ответа я не получил.

Ровно через две недели после этого мне представилась неожиданная возможность поехать в Лондон для небольшого репортажа. Я пробыв там три дня и уличил время, чтобы зайти в издательство, напечатавшее книгу Александра Вольфа. Меня принял директор. Это был полный человек лет пятидесяти, представлявший из себя по типу нечто среднее между банкиром и профессором. Он бегло говорил по-французски. Я изложил ему причину моего визита и рассказал в нескольких словах, как я прочел «Приключение в степи» и почему этот рассказ меня заинтересовал.

— Мне хотелось узнать, получил ли мистер Вольф мое письмо.

— Мистера Вольфа сейчас нет в Лондоне, — сказал директор, — и мы, к сожалению, лишены в данный момент возможности с ним поговорить.

— Это начинает становиться похожим на детективный роман, — сказал я не без некоторой досады. — Я не буду злоупотреблять вашим временем и пожелаю вам всего хорошего. Могу ли я рассчитывать на то, что когда ваш контакт с мистером Вольфом возобновится, — если это когда-нибудь произойдет, — вы напомните ему о моем письме?

— Вы можете быть совершенно спокойны, — поспешно ответил он. — Но я бы хотел прибавить одну существенную вещь. Я понимаю, что ваш интерес к личности мистера Вольфа носит совершенно бескорыстный характер. И вот, я должен вам сказать, что мистер Вольф не может быть тем человеком, которого вы имеете в виду.

— До сих пор я был почти уверен в противоположном.

— Нет, нет, — сказал он. — Насколько я понимаю, это должен быть ваш соотечественник?

— Это было бы вероятнее всего.

— В таком случае, это совершенно исключено. Мистер Вольф англичанин, я знаю его много лет и могу за это поручиться. К тому же он никогда не покидал Англии больше, чем на две или на три недели, которые он проводил чаще всего во Франции или в Италии. Дальше он не ездил, я знаю это на верное.

— Значит, все это недоразумение, хотя меня это удивляет, — сказал я.

— Что же касается рассказа «Приключение в степи», то он вымыслен с первой до последней строки.

— В конце концов, это не невозможно.

В течение последних минут разговора я стоял, собираясь уходить. Директор тоже поднялся с кресла и вдруг сказал, особенно понизив голос:

— Конечно, «Приключение в степи» вымыслено. Но если бы это было правда, то я не могу вам не сказать, что вы поступили с непростительной небрежностью. Вы должны были целиться лучше. Это

бы изобило от ненужных осложнений и мистера Вольфа и некоторых других лиц.

Этот разговор не мог не произвести на меня чрезвычайно странного впечатления. Из него было ясно, что у директора издательства были какие-то личные счёты с Вольфом и настоящие — или воображаемые — причины его ненависти. То, что он почти упрекнул меня в недостаточном точном выст-реле, звучало в устах этого полного и мирного человека по меньшей мере неожиданно. Так как книга была выпущена два года тому назад, то надо полагать, что события, заставившие директора изменить свое отношение к Вольфу, произошли именно в этот промежуток времени.

Я не мог бы сказать, что я примирился с невозможностью узнать о Вольфе то, что меня интересовало, но я просто не видел как это сделать. И я почти перестал думать об этом.

Я жил в те времена совершенно один. В числе ресторанов, где я обедал или завтракал, — их было четыре, в разных частях города, — был небольшой русский ресторан, самый близкий от моего дома, и в котором я бывал несколько раз в неделю. Я пришел туда в Сочельник, приблизительно в десять часов вечера. Все столики были заняты, оставалось одно свободное место — в самом далеком углу, где одиноко сидел празднично одетый, пожилой мужчина, которого я хорошо знал по виду, так как он был постоянным посетителем этого ресторана. Он всегда являлся с разными дамами, трудно определимого в нескольких словах типа, но для жизни которых был, чаще всего, характерен какой-то перерыв их деятельности: если это была артистка, то бывшая артистка, если певица, то у нее недавно испортился голос, если просто кельнерша, то вышедшая замуж некоторое время тому назад. У него была репутация дон-жуана — и я думаю, что среди этого круга женщин он, наверное, действительно пользовался успехом. Поэтому меня особенно удивило, что в такой день он был один. Но так или иначе, мне предложили место за его столиком, и я сел против него, поздоровавшись с ним за руку, чего раньше мне не приходилось делать.

Он был несколько мрачен, глаза его начинали мутнеть. После того, как я сел, он выпил почти подряд три рюмки водки и внезапно повеселел. Кругом громко разговаривали люди, ресторанный граммофон играл одну пластинку за другой. В то время, как он наливал себе четвертую рюмку, граммофон начал минорную французскую песенку:

Il pleut sur la route

Le caur en déroute...¹

Он внимательно слушал, наклонив голову набок. Когда пластинка дошла до слов:

Malgre le vent, la pluie,

Vraiment si tu m'aimes...²

Он даже прослезился. Только тогда я заметил, что он уже очень пьян.

— Этот романс, — произнес он неожиданно громким голосом, обращаясь ко мне, — вызывает у меня некоторые воспоминания.

Я заметил, что на диванчике, где он сидел, рядом с ним, лежала завернутая в бумагу книга, которую он несколько раз перекалывал с места на место,

¹ Дождь идет...

Сердце от этого в тревоге. (Пер. с фр. подстрочный.)

² Несмотря на ветер и дождь,

Если ты и вправду любишь меня...

(Пер. с фр. подстрочный.)

явно заботясь о том, чтобы ее не помнить.

— Я думаю, что у вас вообще довольно много воспоминаний.

— Почему вам так кажется?

— Вид у вас такой, по-моему.

Он засмеялся и подтвердил, что действительно, воспоминаний у него довольно много. Он находился в припадке откровенности и необходимости поговорить, особенно характерном именно для выпивших людей его размашистого типа. Он начал мне рассказывать свои любовные приключения, причем во многих случаях явно, как мне казалось, фантазировал и преувеличивал. Меня, однако, приятно удивило то, что ни об одной из своих многочисленных жертв он не отзывался дурно; во всех его воспоминаниях было нечто вроде смеси разгула с нежностью. Это был очень особенный оттенок чувства, характерный именно для него, в нем была несомненная и невольная привлекательность, и я понял, почему этот человек мог действительно иметь успех у многих женщин. Несмотря на внимание, с которым я следил за его рассказом, я не мог точно запомнить нестройную и случайную последовательность женских имен, которые он приводил. Потом он вздохнул, прервал сам себя и сказал:

— Но лучше за всю жизнь не было, чем моя цыганочка, Марина.

Он долго описывал мне Марину, которая, по его словам, обладала всеми решительно достоинствами, что само по себе было довольно редко, но удивительнее всего мне казалось, что она ездила верхом лучше любого жокея и без промаха стреляла из ружья.

— Как же вы решили с ней расстаться? — спросил я.

— Это не я решил, милый друг, — сказал он. — Ушла от меня, смугляночка, и недалеко ушла, к соседу. Вот, — он показал мне завернутую книгу, — к нему и ушла.

— К автору этой книги?

— А к кому же другому?

— Можно посмотреть? — сказал я, протягивая руку.

— Пожалуйста.

Я развернул бумагу — и мне сразу бросилось в глаза знакомое сочетание букв: «I'll Come Tomorrow», by Alexander Wolf.

Это было в такой же степени неожиданно, как удивительно. Я молчал несколько секунд, продолжая смотреть на заглавие. Потом я спросил:

— Вы уверены, что приказчик в магазине не ошибся и не дал вам что-то другое?

— Помилуйте, — сказал он, — какая же тут может быть ошибка? Я по-английски не читаю, но уж в этом, будьте уверены, не ошибусь.

— Я знаю эту книгу, но мне недавно сказали, что ее автор англичанин.

Он опять засмеялся.

— Саша Вольф, англичанин! Тогда почему, черт возьми, не японец?

— Вы говорите, — Саша Вольф?

— Саша Вольф. Александр Андреевич, если хотите. Такой же англичанин, как мы с вами.

— Вы хорошо его знаете?

— Еще бы не знать!

— Вы давно его видели в последний раз?

— В прошлом году, — сказал он, наливая себе водки. — Ваше здоровье. В прошлом году, в это же время, приблизительно.

Он был уже совсем пьян, его язык начинал заплетаться.

— Он, значит, живет не в Париже?

— Нет, он все больше в Англии, хотя его повсюду носит. Я ему говорю: отчего, дьявол, по-русски не пишешь? мы бы почитали. Говорит, нет смысла, по-английски выгоднее, платят лучше.

— А что же было с Мариной?

Тогда он начал рассказывать во всех подробностях о Марине, об Александре Вольфе, о том, когда и как все это происходило. Это был беспорядочный и довольно цветистый рассказ, который изредка прерывался тем, что он шел то за здоровьем Вольфа, то за здоровьем Марины. Он говорил много и долго и, несмотря на то, что это было лишено хронологической последовательности, я мог составить более или менее отчетливое представление обо всем.

Александр Вольф был моложе этого человека, — его звали Владимир Петрович Вознесенский, он был духовного происхождения, — на пять или на шесть лет. Он был из Москвы или, может быть, из других мест, но, во всяком случае, с севера России. Вознесенский познакомился с ним в конном отряде товарища Офицера, левого революционера с уклоном к анархизму. Отряд этот вел партизанскую войну на юге России. — Против кого? — спросил я. — Вообще против всяких войск, которые пытались захватить незаконную власть, — сказал Вознесенский с неожиданной твердостью. Насколько я понял, никакой определенной политической цели товарищ Офицер не преследовал. Это был один из тех авантюристов очень чистого типа, которых знает история каждой революции и каждой гражданской войны. Численность его отряда то увеличивалась, то уменьшалась, — в зависимости от обстоятельств, большего или меньшего количества трудностей, времени года, и множества других, нередко случайных причин. Но основная его группа всегда была одна и та же, и Александр Вольф был ближайшим сотрудником Офицера. Он отличался, по словам Вознесенского, некоторыми, классическими в таких рассказах, качествами: неизменной храбростью, неутомимостью, способностью очень много пить и был, конечно, хорошим товарищем. В отряде Офицера он провел больше года. За это время им пришлось жить в самых разных условиях: в крестьянских избах и в помещичьих домах, в поле и в лесу, иногда они голодали по несколько дней, иногда непомерно объедались, страдали от холода зимой и от жары летом, — словом, это было то, что известно по опыту почти всякому участнику сколько-нибудь длительной войны. Вольф, в частности, был чрезвычайно аккуратен и чистоплотен. — До сих пор не понимаю, когда он успевал бриться каждый день, — сказал Вознесенский; он умел играть на рояле, мог пить чистый спирт, очень любил женщин и никогда не играл в карты. Он знал по-немецки, это выяснилось однажды, когда Вознесенский и он попали к немецким колонистам и старуха, хозяйка фермы, не говорившая по-русски, собиралась послать свою дочь на подводе в ближайший город, за три километра, чтобы сообщить там штабу советской дивизии, что в деревне находятся два вооруженных партизана. Она сказала все это дочери по-немецки, в присутствии Вознесенского и Вольфа.

— Что же было дальше?

— Он мне тогда ничего не рассказал, только девочку мы не пустили, связали и отнесли на чер-

дак, потом забрали провизию и ушли.

По словам Вознесенского, Вольф, уходя, покачал головой и сказал: — Эх, старуха какая! — Что ж ты ее не пристрелил? — спросил Вознесенский позже, когда Вольф объяснил ему, в чем дело. — Будь она проклята, — сказал Вольф, — ей и так жить недолго осталось, ее без нас с тобой Бог приберет.

Вольфу очень везло на войне; из самых опасных положений ему удавалось уходить совершенно невредимым.

— Он ни разу не был ранен? — спросил я.

— Один только раз, — сказал Вознесенский, — но зато так, что я собирался панихиду служить. Это не *façon de parler*,¹ как говорят французы; доктор объявил, что Саше осталось несколько часов жизни.

Но доктор ошибся; Вознесенский объяснял это тем, что он недоценил сопротивляемости Вольфа. Вознесенский прибавил, что Вольф был ранен в совершенно загадочных обстоятельствах, о которых он ничего не хотел сказать, ссылаясь на то, что не помнит, как это произошло. Тогда были жестокие бои между частями красной армии и отступавшими белыми; отряд Офицера скрывался в лесах и не принимал в этом никакого участия. Приблизительно через час после того, как замолкли последние выстрелы, Вольф заявил, что поедет на разведку, и уехал один. Прошло часа полтора, он не возвращался. Вознесенский с двумя товарищами отправились его разыскивать. За некоторое время до этого они слышали три выстрела, третий был более далекий и слабый, чем два первых. Они проехали две или три версты, по пустынной дороге, все было тихо, нигде не было видно никого. Стояла сильная жара. Вознесенский первый увидел Вольфа; Вольф лежал неподвижно поперек дороги и «крипел кровью и пеной», — как он сказал. Лошадь его пропала, что тоже было удивительно; она обычно ходила за ним, как собака, и никогда бы по доброй воле не ушла.

— Вы не помните, какая это была лошадь? Какой масти?

Вознесенский задумался, потом сказал:

— Нет, не вспомню. Давно это было, черт его знает. Он их много переменял.

— Но как же, вот вы говорите, что она ходила за ним, как собака.

— А это у него был такой талант, — сказал Вознесенский, — все его лошади так. Знаете, бывают люди, которых никогда не трогают собаки, даже самые злые. А у него был такой же дар к лошадям.

И Вознесенскому и его товарищам представлялись чрезвычайно странными обстоятельства, при которых Вольф был так тяжело ранен. Доктор говорил потом, что рана была от револьверной пули, выстрел был сделан с небольшого расстояния, и Вольф не мог, конечно, не видеть того, кто в него стрелял. Главное, не было никакого боя, и никого вокруг; только недалеко от того места, где они нашли Вольфа, лежал труп нерассеянной воронной кобылы. Вознесенский предполагал, что в Вольфа стрелял, по-видимому, человек, которому принадлежала эта лошадь, и он же потом уехал на так необычно пропавшем коне Вольфа. Он прибавил, что если бы они, Вознесенский и его спутники, не опоздали, то не пожалели бы пуль, чтобы отомстить за товарища. Я вспомнил образ горячего ветра,

¹ Пустые слова (фр.).

донесший до меня далекий топот нескольких лошадей,— тот самый звук, который заставил меня тотчас же уехать.

— А может быть, в конце концов,— неожиданно сказал Вознесенский,— этот человек просто защищал свою жизнь, и его тоже нельзя обвинять. Предлагаю вам по этому случаю чокнуться за его здоровье. Вам нужно выпить, у вас что-то очень задумчивый вид.

Я молча кивнул головой. Низкий женский голос в это время пел из граммофона:

Не надо ничего,

Ни поздних сожалений...

Был уже первый час ночи, в воздухе стоял холодноватый запах шампанского, маленькие облачки духов; пахло еще жареным гусем и печеными яблоками. С улицы доносились заглушенные автомобильные гудки, за ресторанной витриной, отделенная от нас только стеклом, начиналась зимняя ночь, с этим блеклым и холодным светом фонарей, отражавшимся на влажной парижской мостовой. И я видел перед собой, с необъяснимо печальной отчетливостью, жаркий летний день, растрескавшуюся, черно-серую дорогу, медленно, как во сне, кружившую между маленькими родами, и неподвижное тело Вольфа, лежащее на горячей земле после этого смертельного падения.

Вознесенский привез его в маленький, бело-зеленый городок — белый от цвета домов, зеленый от деревьев — над Днепром и устроил его в больницу. Доктор сказал Вознесенскому, что Вольфу осталось несколько часов жизни. Но через три недели он вышел из больницы с ввалившимися щеками и густой щетиной на лице, делавшей его очень непохожим на себя. Вознесенский пришел за ним вместе с Мариной, которую он встретил на следующий день после своего приезда в этот город. Она была в белом, легком платье; браслеты звенели на ее смуглых руках. Год два тому назад она покинула родных и путешествовала с тех пор по южной России, зарабатывая то гаданьем, то пеннием. Вознесенский твердо верил, что она жила именно на такие доходы; судя по тому, как он ее описывал, я думаю, что ей вряд ли приходилось очень заботиться о своем пропитании. Ей было тогда семнадцать или восемнадцать лет. Когда Вознесенский говорил о ней, у него даже менялся голос, и я полагаю, что если бы он не был так пьян, то не рассказывал бы мне о некоторых, совершенно непередаваемых и действительно редких ее качествах, о которых, конечно, могли только знать люди, неоднократно испытывавшие непреодолимую, горячую прелесть ее близости. Он жил с Мариной в небольшом особняке; через два дома от них поселился Вольф, который был еще слишком слаб, чтобы начинать прежнее партизанское существование. В доме Вознесенского был розаль. Вольф пришел в гости к своему товарищу на следующий день в штатском костюме, выбритый и чистый, как всегда, они вместе обедали, потом он сел за рояль и стал аккомпанировать Марине, которая пела свои песни.

Через некоторое время Вознесенский уехал на несколько дней к Офицерову; и когда он вернулся, то Марине не было. Он пошел к Вольфу — и она отворила ему дверь. Вольф в этот день отсутствовал. Она посмотрела на Вознесенского без всякого смущения и с дикарской, непосредственной простотой сказала ему, что теперь она его больше не любит, а любит Сашу.

— Я был человек крепкий,— сказал он,— на моих глазах были убиты мои товарищи, я сам часто рисковал жизнью, и все сходило с меня, как с гуся вода. Но в тот день я пришел домой, лег на кровать и плакал, как мальчишка.

То, что он мне рассказывал потом, было удивительно и наивно. Он убеждал Марину, что Вольф еще слишком слаб, что она должна была его пожалеть и оставить в покое.

— А когда он начинает кашлять и хрипеть, так я его отпускаю,— ответила она с той же простотой, которая была для нее характерна.

Впрочем, измена Марины никак не повлияла на отношения между Вознесенским и Вольфом. Вознесенский нашел в себе силы дружески относиться даже к Марине. Она прожила с Вольфом много месяцев, сопровождала отряд повсюду, и именно тогда они оценили ее искусство ездить верхом и стрелять из винтовки.

Затем наступили страшные времена. На преследование отряда, от которого осталось двести человек, была послана конная дивизия. Несколько недель они скрывались в лесах. Это было в Крыму. Офицеров был убит. В один из последних дней их пребывания там они нашли в лесу недавно брошенные и хорошо оборудованные землянки. Впервые за полторы недели они провели спокойную ночь, в сравнительном тепле и с некоторыми удобствами. Они проспали много часов подряд. Когда они встали, поздно утром, Марины не было.

Но разыскивать ее у них не было ни времени, ни возможности. Они добрались пешком до побережья и уехали из России в трюме турецкого парохода, перевозившего уголь. В Константинополе, через две недели, они расстались — и встретились через двенадцать лет в Париже, в вагоне метро, когда Вольф, уже далеко не в первый раз, приехал во Францию из Англии, где постоянно жил.

О судьбе Марины Вознесенский так ничего и не знал. Она появилась неожиданно, в одно летнее утро, на базарной площади этого маленького городка над Днепром — и исчезла так же неожиданно, на рассвете осенней ночи, в Крыму.

Я смотрел на него и думал о неадекватном стечении обстоятельств, которое связало мою жизнь со всем, что он рассказывал. Пятнадцать лет тому назад этот человек, который теперь сидел против меня в парижском ресторане и встречал Рождество с водкой, гусем и воспоминаниями, и в самом дружеском расположении к своему собеседнику,— ехал, вместе с двумя товарищами, на поиски Александра Вольфа, и если бы не легкий ветер, то я не услышал бы их приближения, они могли бы меня догнать, и тогда, конечно, мой револьвер меня бы не спас. Правда, я думаю, что белый жеребец Вольфа был резвее их лошадей, но он так же мог быть ранен или убит, как моя воронья кобыла. Но не это занимало мои мысли. Это была случайность, касавшаяся моей личной судьбы, и если бы меня спросили, что было бы лучше — быть убитым тогда или уцелеть для той жизни, которая мне предстояла, я не уверен, что стоило выбирать второе. Мы расстались наконец с Вознесенским, он ушел неверной походкой, и я остался один, погруженный в мои мысли обо всем, что я узнал за последнее время и что вызывало во мне ряд очень нестройных и противоречивых представлений. Конечно, в рассказе Вознесенского могла быть извест-
Продолжение на стр. 40



НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Что такое художественность

Иван Ильин

Николаю Карловичу Метнеру

*Немного истинных пророков
С печатью тайны на челе...
Веневиного*

Вот основной, вот труднейший, вот решающий вопрос для всего искусства: вопрос художественного совершенства и художественной критики, вопрос критерия, мерил, оценки и суда...

«Совершенства?» — иронически спросят тоном Пилата завязтые «знатоки» и автори-

тетные «ценители»: «Что есть совершенство? Художник творит то, что ему нравится; а зрителю нравится или не нравится то, что ему показали... Кому что нравится, тот то и хвалит... Разве можно согласить людей в их вкусах? Разве здесь можно что-нибудь доказать? Искусству нужна свобода; она нужна ему, как воздух. Свобода творить; и свобода одобрять, наслаждаясь. О каком же обязательном совершенстве или доказательном критерии может идти речь?»...

На эти вопросы мы должны дать прямой и ясный ответ.

Да, свобода нужна искусству,

как воздух человеку: ибо свобода есть право творить *по вдохновению*, а не по принуждению и заказу. Но разве свободное вдохновение означает *безответственность и вседозволенность*? Разве художник, предоставленный своему вдохновению, имеет духовное право на произвол и беспуство? Разве вдохновение есть художественная распущенность и бесчинство? Не есть ли вдохновение, наоборот, *прозрение высших закономерностей и совершенных связей*? Не есть ли оно обретение подлинной *художественной необходимости*?

Бесспорно, никто не должен мешать художнику творить то, что ему «нравится». Пусть его и творит... Но ведь ему может «понравится» и плохое, безвкусное, нехудожественное, или, еще хуже, — растленное и растлевающее. Кто же смеет мешать нам устанавливать это, то есть, что вот такой-то художник создал нечто плохое, нехудожественное или растленное?..

Трудно помешать и зрителю наслаждаться тем, что ему нравится, и хвалит нравящееся. Пусть его и хвалит... Но ведь еще мудрый грек Гераклит отмечал, что люди нередко «наслаждаются грязью». Кто же может помешать нам установить

это обстоятельство, то есть, что вот такие-то люди «наслаждаются грязью»?..

Согласить людей в их «вкусах», конечно, нельзя, да и не нужно: все равно всех не переделаешь. И само произведение искусства не станет ни лучше от согласных рукоплесканий толпы, ни хуже — от ее единодушного свиста и поношения. Дело здесь совсем не в толпе...

Но судить об искусстве — независимо от толпы и вопреки ей, — судить в порядке ответственного служения можно и должно. И если бы русская художественная критика и русская эстетика были на высоте за последние пятьдесят лет, то, может быть, некоторые русские «знатоки и ценители» не распространяли бы ныне с успехом дух эстетического большевизма, эту теорию безответственности и практику вседозволенности в искусстве.

В вопросах художественного совершенства и художественного суда — возможно и доказывать, и показывать. Ответственный критик обязан обосновывать каждое свое суждение, каждое критическое слово, каждое одобрение и неодобрение...

Художественная критика требует целостного вхождения в самое произведение искусства. Надо забыть себя и уйти в него. Надо дать художнику выжечь его произведение в моей душе, вроде того, как выжигают по дереву. Надо дать ему вылепить его произведение из моей, покорной ему, лепкой и держащей, душевной глины. В послушном ему, непредвзято-чистом пространстве моего внутреннего мира должно верно и точно состояться его видение. Все, что он носил, вынашивая в себе; весь его художественный замысел и помысел; и все образы, в которые он уложил эту свою художественную медитацию; и все внешнее тело его произведения — слышимые звуки и слова, видимые линии, краски, плоскости, массы, — все должно быть воспринято моим духом, состояться в нем, страстись, пропеть себя, выжечь себя в нем; словом — разvernуться во мне, в пространствах моего духовного внимания...

Но, увы, люди воспринимает искусство рассеянно и безразлично; никто и не думает о «целостном вхождении», о вер-



Леонид Соков. «Мэрилин и медведь». Художественная выставка «Транзит»

ном и точном восприятии, о глубокой и таинственной медитации художника. Думают о своем развлечении и удовольствии. Приносят в концерт или в картинную галерею свои повседневные интересы и настроения, свое обывательское «самочувствие». И не думают освободить в себе «духовное мес-

то» для художественного произведения.

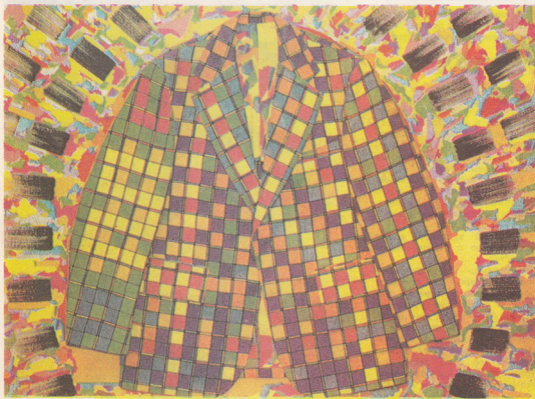
Дайте художнику властно дохнуть в ваш внутренний мир; дайте ему свою душу, как покорный и крепкий пластилин; не «уши» и не «глаза», а всю душу до дна. И тогда вы увидите, что возможна верная встреча в художественном произведе-

нии — и с самим художником, и с другими, так же сосредоточенно и предметно воспринимавшими его, как и вы...

Вам приходилось когда-нибудь видеть лицо художника, когда вы, возвращаясь из глубокого, самозабвенного созерцания его произведения, как бы из некоего священного колодца, в котором вы слышали или видели его видение, — когда вы начинаете выговаривать вслух, с трудом подыскивая слова, его основную медитацию, то Главное, ради которого он создавал свое произведение? Вы говорите в великой сосредоточенности, как бы ошупью, медленно, беспомощно, то иносказанием, то намеком; иногда почти изнемогая от напряжения, — но по существу верно. А его лицо — и не лицо уже, а лик, — сияет радостным светом свершенности: ибо он видит, что искусство его состоялось в вас и что власть его передала вам (сквозь все образы и сквозь внешнее тело искусства) ту художественную медитацию, ту выношенную им тайну, ради которой он творил...

Итак, во всяком подлинно художественном произведении имеется это главное, это сказуемое, некая бессознательно выношенная тайна, которая ищет себе верных образов и верного художественного тела (звук, слов, красок, линий и т. д.). Эта тайна есть как бы душа произведения; отнимите ее — и все тело распадется на случайные

куски и обрывки. Эта тайна есть как бы внутреннее солнце произведения, лучами которого все оно пронизано изнутри; она царит, и ей все подчиняется; она диктует художнику закон, и меру, и выбор, и необходимость, и все оттенки... Ей он повинует. Из нее творит. Из нее критикует и исправляет свое создание. Ибо он знает,



Генрих Худяков. «Свете благи (клетчатый)». Художественная выставка «Транзит»

что всякое слово и весь ритм его поэмы; всякая модуляция его музыкальной темы; всякий персонаж его драмы; всякая деталь его картины; всякий жест и поза его танца — должны *служить ей*, являть ее; должны быть потребованы и выращены из ее глубины; должны быть *необходимы* для ее художественного *прикровенного раскрытия*...

Искусство есть прежде всего и глубже всего — культ *тайны*, искренний, целомудренный, непризнательный... Где нет этого сосредоточенного вынашивания тайны, где нет *художественного таинствования* (о, сколь ответственного!), — там нет и настоящего искусства. Там или совсем нет Главного, или же оно подменяется рассудочными выдумками и произвольными комбинациями. Истинный художник есть не только «жрец прекрасного» (Пушкин), но и жрец *мировой тайны*, постигаемой в глубине сердечного созерцания. Он внемлет ей и в «долней лозы прозябании», и в «подводном ходе гад морских», и в «криках сельских пастухов», —

И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной
тымы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы...

Если нет тайны и ее бессознательно-созерцательного вынашивания, — то нет и художника, нет и искусства, а есть лишь их праздная и соблазнительная видимость. Ибо искусство рождается из *таинственных недр мирового бытия*.

Только при таком понимании искусства может быть верно разрешен вопрос о художественном совершенстве и художественном критерии.

Творящий художник имеет дело обычно с *тремя* слоями искусства.

Во-первых, — с *внешней материей*: в поэзии — это звучащее слово и язык; в музыке — это поющий звук и инструмент; в скульптуре — глина, камень, дерево, металл; в живописи — краски и цвета, линии, светотень; в театре и танце — само человеческое тело, декорации, обстановка. Эта внешняя материя имеет свои законы (законы языка и грамматики, законы музыкального звучания и соз-

вучия, законы цвета, законы масс, законы человеческого естества). Эти законы должны быть соблюдены, но при соблюдении *подчинены* двум более глубоким слоям. Ибо внешняя материя искусства есть лишь *средство и орудие*; она не самостоятельна и не смеет быть самодействующей. Она призвана быть верным знаком художественного образа и художественной тайны...

Так, безграмотное стихотворение не может быть художественно совершенным, какие бы яркие образы и глубокие помыслы оно ни несло читателю. Но одной грамотности и «стильности», конечно, недостаточно. Нельзя попираť законы музыкального звучания и созвучия, как делают это все «джаз-бандиты» и бегущие за ними модернисты в музыке; но музыкальная грамотность в композиции и инструментовке и верный

слуховой вкус — отнюдь не обеспечивают еще художественности. Мастер краски и линии может создать совершенно нехудожественную картину; мастер естественного телодвижения может художественно провалить свою роль и свой танец. Над внешней материей должен царить образ; над образом должна царить про-рекающаяся тайна.

Во-вторых, художник имеет дело с *образным* составом искусства. *Строитель* не просто скрепляет камни и дерево, но показывает нам образ храма и жилища. Воображение *живописца* дает зрителю сверх того образы плодов, цветов, деревьев, животных, гор, моря, неба, человеческого тела (и через него — человеческой души), или же просто узора; воображение *поэта* властно дает сверх этого всего еще и весь внутренне-душевный мир человека (в



Эрнст Неизвестный. «Распятие». Художественная выставка «Транзит»



Эрнст Неизвестный. «Пантеизм». Художественная выставка «Транзит»

отвлечении от их внешности, например, «Я вас любил» Пушкина); изображение музыканта властно показать по-своему не только все это, но и многие ни словесно, ни зрительно не передаваемые состояния мира и содержания человеческого духа...

Все эти образы имеют свои законы (законы, предсказанные природой, законы пропорции, гармоничности, перспективы, законы человеческой психологии и другие, теоретически еще не исследованные и не формулированные... целое великое поле для исследователя!). И эти законы настоящий художник соблюдает интуитивно и бессознательно, но, соблюдая, подчиняет глубочайшему содержанию про-рекающей художественной тайны. Ибо и образ не может быть самодовлеющим; и он есть лишь средство и орудие (чего не признавала, например, венецианская живопись).

Архитектурная дисгармония (например, дворец дождей); кар-

тина с неудавшимся ракурсом (например, Тело Христа, Мантеньи); портрет, состоящий из хаотически разбросанных кусков лица (Пикассо); драма с психологически не индивидуализированными героями («Жизнь Человека», Л. Андреева); соната с не связанными взаимно и неразвивающимися темами и т. под. — не дадут художественного произведения, совершенно независимо от внешней грамотности, прелестных деталей и глубокого замысла художника... Образный состав искусства имеет свою, обязательную «грамотность». Но и она подчинена Главному — третьему слою искусства, про-рекающей через художника тайне!

Итак, вот критерий художественного совершенства: будь верен законам внешней материи, но, осуществляя их, подчини их живую комбинацию — образу и главному замыслу; будь верен законам изображаемого образа, но, осуществляя их, подчини их живую комбина-

цию своему главному замыслу, являемой тайне; а художественный замысел свой всегда вынашивай до полной зрелости, и пусть он будет всепронизывающим, внутренним солнцем твоего произведения.

Именно это имел в виду поэт Шевырев, когда писал в своем мудром стихотворении «К Фебу» (то есть к солнцу):

Плодов и звуков божество!
К тебе вызывает стих мой смелый:
Да мысль глядится сквозь него,
Как ты сквозь плод прозрачно-спелый!

Как солнце вращивает плод, пронизывая его своими лучами, так художественный замысел поэта должен пронизывать все стихотворение, глядясь в него и сияя из него людям...

Таково и было всегда все великое и классическое в искусстве. Таково оно будет и впредь.

Вот откуда открывается художественное совершенство. Вот где начинается настоящая и плодотворная художественная критика...

Гайто Газданов

Призрак Александра Вольфа

ГРАФИКА ОЛЬГИ СТАЩЕВИЧ



Продолжение. Начало на стр. 29

ная доля фантазии, почти неизбежная для таких устных мемуаров, — но она не касалась главного. То, что сказал мне директор издательства, резко расходилось с тем, что я узнал в этот вечер ресторанного разговора; правда, директору я был склонен верить гораздо меньше, чем моему рождественскому собеседнику. Но зачем ему нужно было уверить меня, что Вольф никогда надолго не уезжал из Англии, — и почему он жалел, что я его не убил? Но и это были побочные соображения. Самым удивительным мне казалось другое: как этот Саша Вольф, друг Вознесенского, авантюрист, пьяница, любитель женщин, соблазнитель Марины, — как этот Саша Вольф мог написать «I'll Come Tomorrow»? Автор этой книги не мог быть таким. Я знал, что это был несомненно умный, чрезвычайно образованный человек, у которого культура не носила какого-то случайного характера; кроме того, он не мог не быть душевно чуждым такому милому и бесшабашному забудлыге, как Вознесенский, и всем вообще людям этой категории. Мне было трудно вообразить себе человека, так уверенно чувствующего себя в тех психологических переходах и оттенках, на удачном использовании которых была построена его проза, — связывающим немецкую

девичку-колонистку, например. Мне больше всего хотелось знать, — если предположить, что рассказ Вознесенского был в общем верен, в чем я почти не сомневался, — как Саша Вольф, авантюрист и партизан, превратился в Александра Вольфа, написавшего такую книгу. Это с трудом укладывалось в моем воображении, — этот всадник на белом жеребце, ехавший карьером навстречу своей смерти и именно такой смерти, — револьверная пуля на всем скаку, — и автор сборника, ставший эпиграфом цитату из Эдгара По. — Раню или поздно, — думал я, — я все-таки узнаю это, и, быть может, мне удастся проследить с начала до конца историю этого существования, в том его двойном аспекте, который особенно интересовал меня. Это могло произойти или не произойти, во всяком случае, судьба Александра Вольфа интересовала меня еще и потому, что я сам страдал всю свою жизнь от непреодолимого и чрезвычайно упорного раздвоения, с которым тщетно пытался бороться и которое отравило лучшие часы моего существования.

Историю этих неудач я помнил очень хорошо, еще с тех времен, когда вопрос о моем личном раздвоении носил совершенно невинный характер и никак, казалось бы, не предвещал тех катастрофических последствий, к которым привел позже. Это началось с того, что меня в одинаковой степени привлекали две противоположные вещи: с одной стороны — история искусства и культуры, чтение, которому я уделял очень много времени, и склонность к отвлеченным проблемам; с другой стороны — столь же неумеренная любовь к спорту и всему, что касалось чисто физической, мускульно-животной жизни. Я едва не надорвал себе сердца гирями, которые были слишком тяжелы для меня, я проводил чуть ли не полжизни на спортивных площадках, участвовал во многих состязаниях и вплоть до последнего времени предпочитал футбольный мяч любому театральному спектаклю. Я сохранил очень неприятные воспоминания о жестоких драках, которые были характерны для моей юности и которые были совсем непохожи на спорт. Все это давно прошло, конечно. У меня осталось два шрама на голове — я как сквозь сон вспоминал, что товарищи принесли меня тогда домой, покрытого запекшейся кровью и в изорванном гимназическом костюме. Но это все, — как и то, что я постоянно бывал в обществе воров и вообще людей, находившихся на временной свободе, от одной тюрьмы до другой, — не имело, казалось бы, особого значения, хотя и тогда уже можно было предполагать, что одинаково неизменная любовь к таким разным вещам, как стихи Бодлера и свирепая драка с какими-то хулиганами, заключает в себе нечто странное. Впоследствии все это приняло несколько иные формы, далекие, однако, от какого бы то ни было улучшения, потому что, чем дальше это продолжалось, тем больше становилось расхождение и резкое противоречие, характерное для моей жизни. Оно находилось между тем, к чему я чувствовал душевную склонность и тяготение, и тем, с чем я так тщетно боролся, именно этим бурным и чувственным началом моего существа. Оно побуждало меня любить вещи, эстетическую ничтожность которых я прекрасно знал, это были вещи явно дурного вкуса, и сила моего влечения к ним могла сравниться только с отвращением, которое я необъяснимым образом испытывал к ним в одно и то же время.

Но все-таки, самым грустным результатом этого раздвоения был мой душевный опыт по отношению к женщинам. Я давно ловил себя на том, что вот, я слежу жадными и почти чужими глазами за тяжелым и грубым женским лицом, в котором самый внимательный и самый беспристрастный наблюдатель тщетно искал бы какой бы то ни было одухотворенности. Я не мог не видеть, что эта женщина одета с вызывающим и неизменно безуклюжим, так же, как я не мог предполагать в ней ничего, кроме чисто животных рефлексов,— и все же движение ее тела и раскачивающаяся ее походка каждый раз производили на меня непостижимо сильное впечатление. Правда, я никогда не имел ничего общего с женщинами такого порядка, наоборот, при приближении к ним самым властным чувством во мне оказывалось все-таки отвращение. Другие женщины, которые прощли через мою жизнь, принадлежали к совершенно иному кругу, они составляли часть того мира, в котором я должен был бы жить всегда и откуда меня так неудержимо тянуло вниз. Я испытывал по отношению к ним лучшие, я думаю, чувства, на которые я был способен — но все-таки во всем этом был привкус какой-то вялой прелести, оставлявший во мне каждый раз ощущение смутной неудовлетворенности. Это всегда было так — и я никогда не знал другого; я полагаю, что от этого последнего шага меня удерживало нечто похожее на инстинкт самосохранения, бессознательное понимание, что если бы это произошло, то кончилось бы душевной катастрофой. Но я нередко чувствовал, что она была близка. Это было похоже на то, как, если бы человек, которого всегда тянет в пропасть, жил в стране, где нет ни гор, ни обрывов,— а только ровные просторы плоских равнин.

По мере того, как проходило время, и вместе с ним медленно двигалась моя жизнь, я привык к двойственности своего существования, как люди привыкают, скажем, к одним и тем же болям, характерным для их неизлечимой болезни. Но я не мог примириться до конца с сознанием того, что мое дикарское и чувственное восприятие мира лишило меня очень многих душевных возможностей и что есть вещи, которые я теоретически понимаю, но которые навсегда останутся для меня недоступны, как мне будет недоступен мир особенно возвышенных чувств, которые, однако, я знал и любил всю мою жизнь. Это сознание отражалось на всем, что я делал и предпринимал; я всякий раз знал, что то душевное усилие, на которое я в принципе должен был быть способен и которого другие были вправе от меня ждать, мне окажется непосильным — и поэтому я не придавал значения многим практическим вещам и поэтому моя жизнь носила в общем такой случайный и беспорядочный характер. Это же предопределило и мой выбор профессии; и вместо того, чтобы посвятить свое время литературному труду, к которому я чувствовал склонность, но который требовал значительной затраты времени и бескорыстного усилия, я занимался журнальной работой, очень нерегулярной и отличавшейся утомительным разнообразием. В зависимости от необходимости, мне приходилось писать о чем угодно, начиная от политических статей и кончая отзывами о фильмах и отчетами о спортивных состязаниях. Это не требовало ни особого труда, ни специальных знаний; кроме того, я пользовался либо псевдонимом, либо инициалами и ук-

лонялся таким образом от ответственности за то, что писал. Этому, впрочем, научил меня опыт. Почти никто и никогда из тех, о ком мне приходилось высказывать не совсем положительное суждение, не мог согласиться с моим отзывом, и каждый чувствовал настоятельную необходимость лично объяснить мне мое заблуждение. Изредка я должен был писать о том, что не входило в круг моей компетенции даже самым отдаленным образом, это случалось тогда, когда я заменял заболевшего или уехавшего специалиста. Одно время, например, мне все попадались некрологи, я написал их шесть за две недели, потому что мой товарищ, который занимался этим обычно — с необыкновенным рвением и редкой профессиональной честностью — по прозвищу Сосисо, лежал в кровати с двусторонним воспалением легких.

Период некрологов был памятен для меня, в частности, потому, что последнюю — шестую по счету — статью мне вернули из редакции с требованием больше оттенить положительные стороны покойного. Эта была спешная работа, я просидел над ней целый вечер, не успев вовремя пообедать, и только дописав последние строки и отвез статью в типографию, я зашел в русский ресторан, где встречал Сочельник, и после долгого перерыва снова встретил там Вознесенского, который опять сидел один и искренно мне обрадовался, как старому знакомому. Он обратился ко мне фамильярно и непринужденно, так, точно мы были знакомы много лет; но как всегда, во всем, что он говорил или делал, не было ничего шокирующего. Он спросил меня, где я пропадаю и нужно ли всякий раз дожидаться двенадцатого праздника, чтобы меня увидеть. Потом он поинтересовался тем, что я вообще делаю. Когда я ему сказал, что я журналист, он необыкновенно воодушевился.

— Вот вам счастье, — сказал он, — а мне Бог не дал.

Он сидел и задумчиво смотрел перед собой, на лице его было выражение искреннего огорчения. Потом, точно вспомнив что-то, он спросил меня:

— Да, вот о чем я хотел с вами поговорить. Скажите, пожалуйста, как пишет Саша? Хорошо или так себе? Помните, Саша Вольф, о котором мы с вами разговаривали?

Я ему приблизительно рассказал содержание книги. Его особенно заинтересовало, конечно, «Приключение в степи». Он все не мог привыкнуть к той мысли, что Саша Вольф, этот самый Саша, которого он так хорошо знает, — такой же, как мы все, — сказал он, — этот Саша оказался писателем, да еще английским вдобавок.

Он опять смотрел перед собой невидящим взглядом.

— И вот так все и останется, — продолжал он, думая вслух. — И как браслеты звенели на Марининых руках, и какой Днепр был в то лето, и какая была жара, и как Саша лежал поперек дороги. Так он, значит, видел, кто в него стрелял тогда? По его описанию, вы говорите, мальчишка? Как это у него случилось?

Я повторил более подробно это место рассказа.

— Да, да, — сказал Вознесенский. — Это очень вероятно. Испугался, может быть, мальчишка. Вы представляете себе? Лошадь под ним убили, стоит бедняга, один в поле, а на него карьером несется какой-то бандит с винтовкой.

Он опять задумался.

— Так мы никогда о нем ничего не узнаем. Был ли это гимназист, который еще недавно боялся преподавателей больше, чем пулемета, и дома читал мамини книги, или хулиган, вроде беспризорного, и стрелял ли он от испуга или со спокойным расчетом, как убийца? Во всяком случае,— прибавил он неожиданно,— если бы я его каким-нибудь чудом встретил, я бы ему сказал: — спасибо, дружок, что немного промахнулся; благодаря этому промаху мы все останемся жить — и Марина, и Саша, и даже, может быть, я.

Прошло еще несколько недель, и за это время к моим сведениям не прибавилось ничего, даже в области моих собственных предположений. Из Лондона я не получил ни одного письма.

Я бывал по-прежнему время от времени в этом ресторане, но все попадал не в те часы, когда туда приходил Вознесенский, который, впрочем, потерял для меня теперь значительную долю интереса. По-прежнему граммофон, соединенный с аппаратом радио, играл свои пластинки,— и всякий раз, когда низкий женский голос начинал романс — Не надо ничего,

Ни поздних сожалений...

я невольно поднимал голову, и мне начинало казаться, что вдруг открывается дверь и войдет Вознесенский, и вслед за ним, быстрой походкой, пройдет человек с белокурыми волосами и остановившимся взглядом серых глаз. То, что у него были серые глаза, вспомнил теперь отчетливо, хотя в тот раз, когда я их видел, они были покрыты почти что предсмертной мутой — и я заметил их шест только потому, что это происходило в очень исключительных обстоятельствах.

Я продолжал вести прежний образ жизни, в нем ничего не изменилось, все было как всегда,— хаотично и печально,— и я временно не мог отделиться от впечатления, что живу так уже бесконечно давно и давно знаю до смертельной тоски все, что мне приходится видеть: этот город, эти кафе и кинематографы, эти редакции газет; одни и те же разговоры об одном и том же и приблизительно с одними и теми же людьми. И вот однажды, в феврале месяце мягкой и дождливой зимы — без всякой подготовки к этому, без какого бы то ни было ожидания чего-то нового,— начались события, которые впоследствии должны были завести меня очень далеко. В сущности, начало их ни в какой степени не могло быть названо случайностью, по крайней мере с моей стороны. Точно так же, как некоторое время тому назад я занимался некрологами вместо Босскоз, который теперь, к счастью, выздоровел и принял опять с непонятным рвением писать свои похоронно-лирические статьи,— так я должен был после этого заменить другого сотрудника газеты, специалиста по отчетам о спортивных состязаниях, уехавшего в Барселону, чтобы присутствовать на очень важном — с его точки зрения — интернациональном футбольном матче. Через день после этого в Париже должно было происходить не менее значительное событие, именно финал чемпионата мира в полутяжелом весе, и отчет об этом был поручен мне. Меня очень интересовал исход матча. Я имел вполне определенное представление о карьере и качествах каждого из противников, и их столкновение представляло для меня особый интерес. Один из боксеров был француз, знаменитый Эмиль

Дюбуа, другой — американец, Фред Джонсон, который впервые выступал в Европе. Общим фаворитом был Дюбуа; я был одним из немногих, считавших, что матч будет выигран Джонсоном, и для того, чтобы так думать, у меня были некоторые основания. Дюбуа я знал давно; за последние несколько лет он не потерпел ни одного поражения. Несмотря на это, его никак нельзя было назвать исключительным боксером. У него были несомненные природные данные, но это было скорее отсутствие некоторых недостатков, а не сумма достоинств: он отличался необыкновенной сопротивляемостью, мог вынести множество жестоких ударов, у него были прекрасные легкие и сердце и неисчерпаемое дыхание. В этом заключались его положительные качества, недостаточные, однако, чтобы сказать, что он обладал резкой профессиональной индивидуальностью. Тактика всегда одна и та же. Он выигрывал матчи благодаря частым *corps a'corps*¹, его удары всегда приходились по ребрам противника, и во всей его карьере было только два классических *нок-аута*, оба совершенно случайные. У него давно были распущены уши и раздавлен прямыми ударами нос; он шел обычно на противника, как бык, опустив свою крепкую голову и вынося все удары с несомненным и тупым мужеством. Он был чемпионом Европы в полутяжелом весе, и на этот раз вся пресса предсказывала ему быструю победу. В частной жизни это был глупый и очень добродушный человек, он, между прочим, никогда не предьявлял никаких претензий к журналистам, что бы о нем ни писали; в довершение всего, он читал вообще с трудом и мало интересовался газетами.

О Фреде Джонсоне я знал то, что о нем писали американские журналисты. Прочтя о нем несколько десятков статей и следя за результатами его матчей, я пришел к некоторым, чисто теоретическим выводам, и мне особенно интересно было проверить их теперь. Выводы эти были следующие. Во-первых, Джонсон — по крайней мере, в боксерских выступлениях,— был умен, что давало ему мгновенное и огромное преимущество над его противниками; я очень любил бокс, но давно убедился в том, что всякие иллюзии по поводу скорости соображения боксеров и присутствия у них элементарной гибкости воображения даже только в техническом смысле, чаще всего — в девяноста случаях из ста — совершенно напрасны. Во-вторых, он, по-видимому, обладал не меньшей выносливостью, чем Дюбуа, так как только боксер с исключительными физическими данными мог позволить себе роскошь выдерживать каждый раз десять или пятнадцать раундов. В-третьих, он прекрасно владел техникой защиты,— доказательством служило то, что лицо его за всю карьеру серьезно не пострадало. И затем, последнее и самое главное: он — так мне казалось — обладал, когда это было абсолютно необходимо, достаточной силой удара для *нок-аута*, но пользовался этим лишь в чрезвычайных редких случаях, предпочитая выигрывать матчи — по очкам. Он, кроме того, был моложе Дюбуа на шесть лет: это тоже имело некоторое значение.

Я давно не видел такой толпы и такого скопления автомобилей, как в вечер этого матча, перед входом в огромный *Palais des Sports*. Все билеты давно были проданы. Прямо перед входом стояла

¹ Ближний бой (фр.).

громкая машина американского посла. На улице, под мелким зимним дождем, толпились множество людей; редкие барышни прятались от полиции по темным углам. Едва я сделал несколько шагов, как меня окликнул один мой знакомый, молодой архитектор, которого я знал по Латинскому кварталу, в студенческие годы.

— Счастливец! — громко сказал он, пожимая мне руку. — Тебе не надо искать каких-то мерзавцев, которые продают двадцатифранковый билет за полтора франков! Я бы тоже, черт возьми, хотел иметь карту журналиста, как ты. Держишь пари против Дюбуа? Ставлю десять франков. Ах, вот он! — закричал он, увидев невысокого человека в кепке. — Вот мой билет, до свидания! — и он исчез.

И в эту секунду женский голос, очень спокойный, без всякого изменения интонации, сказал мне с небольшим иностранным акцентом:

— Простите, пожалуйста, вы действительно журналист?

Я обернулся. Это была женщина лет двадцати пяти, двадцати шести, хорошо одетая, с довольно красивым, неподвижным лицом и небольшими серыми глазами; шляпа не закрывала ее лба, очень чистой и правильной формы. Меня удивило, что она обратилась к незнакомому человеку, это мне казалось для нее не характерным. Но она говорила с такой простотой и свободой, что я тотчас же ей ответил: да, я действительно журналист и был бы рад, если бы мог ей быть чем-нибудь полезен.

— Я не могла достать билета на матч, — сказала она, — мне очень хотелось бы его видеть. Вы не можете меня провести?

— Постарайся, — ответил я. В общем, после долгих разговоров с дирекцией, дав на чай контролеру, которое она приняла без всякого смущения; я остался стоять рядом с ней, непосредственно у каменного барьера, отделявшего наши места от других. Она ни разу потом не посмотрела на меня и только спросила перед началом матча, почти не поворачивая головы:

— Как вы думаете, кто выиграет?

— Джонсон, — сказал я.

Но в это время на ринге появились уже боксеры, и разговор прекратился.

Мне сразу показались тревожным то обстоятельство, что защитная позиция Джонсона, — оба кулака почти на уровне глаз, — явно не подходила для матча с Дюбуа, так как оставляла совершенно открытым весь торс. Но уже после первого раунда я понял мою ошибку: настоящая защита Джонсона заключалась не в той или иной позиции, а в необыкновенной быстроте его движений. Дюбуа начал матч в стремительном темпе, который был для него не характерен; он, по-видимому, точно подчинился предвзвешенным указаниям своего менеджера. Было заметно, что он прекрасно тренирован, я никогда его не видел в такой совершенной форме. С того места, где я стоял, я ясно видел его непрекращающиеся удары и слышал их скачущие, тупые звуки, похожие издали на мягкий и неровный топот. Они попадали в открытую грудь Джонсона, который отступал, кружась по рингу. Атака Дюбуа была настолько стремительна, что все внимание публики было обращено только на него. О Джонсоне, казалось, никто не думал; один из моих соседей громко говорил с возмущением — но его не

существует, его нет на ринге, я не вижу даже его тени! — Это не матч, это убийство! — кричал чей-то женский голос.

Из-за чрезвычайно быстрого темпа, в котором прошел весь первый раунд, я не мог судить о том, в какой степени Джонсон был на высоте положения. Только во время перерыва я заметил, что он дышал ровно и спокойно и на его лице появилась то напряженное и уверенное выражение, которое я помнил по его газетным портретам.

Второй и третий раунды были повторениями первого. Джонсон продолжал отступать все время, совершая почти правильные круги по рингу. В конце четвертого раунда, когда казалось, что матч безвозвратно выигран Дюбуа, на ринге вдруг произошло движение, настолько молниеносное, что его буквально никто не успел заметить, раздался мгновенный тупой звук падающего тела, и я увидел, что Дюбуа рухнул всей тяжестью на пол. Это было так неожиданно и невероятно, что по всему огромному Palais des Sports прошел одновременный гул толпы, похожий на чудовищный вздох. Сам арбитр настолько растерялся, что не сразу начал считать секунды. На седьмой секунде тело Дюбуа оставалось неподвижным. На восьмой раздался звук гонга, возвещающий конец раунда.

С пятого раунда матч принял совершенно другой характер. Точно так же, как до четвертого перерыва на ринге был, казалось, только Дюбуа, так теперь вместо него появился Джонсон, и вот тогда можно было оценить его необыкновенные качества. Это был урок классического бокса, и Джонсон казался непогрешимым учителем, неспособным сделать ни одной ошибки. Он, к тому же, явно щадил своего противника. Дюбуа, наполовину оглушенный, шел теперь почти вслепую и неизменно натякался на кулаки Джонсона. Он падал еще много раз, но поднимался с невероятным усилием и под конец почти перестал защищаться, беспомощно закрывая руками лицо и со своим обычным, на этот раз едва ли не бессознательным, мужеством вынося все удары. Было непонятно, почему арбитр не останавливает матч, Джонсон несколько раз в середине раунда опускал руки, вопросительно глядя то на Дюбуа, то на арбитра, а я явственно слышал, как он сказал — *but he's dead*¹ — но потом пожимал плечами и продолжал ненужную теперь демонстрацию своего удивительного искусства. И только в начале шестого раунда, таким же быстрым движением, но которое на этот раз видели все, — его правый кулак с необыкновенной силой и точностью попал в подбородок Дюбуа, и Дюбуа унесли с ринга в бессознательном состоянии. В зале стоял грохот и крик, уже бесформенный и бессмысленный, и толпа начала медленно расходиться.

Зимний дождь лил, не переставая. Мы вышли с моей спутницей, я остановил такси и спросил ее, куда она едет.

— Вы были так любезны, — сказала она, не затворяя дверцу автомобиля и сидя уже внутри, — я не знаю, как вас благодарить.

— Я вам предлагаю выпить кофе, это полезно после сильных ощущений, — сказал я. Она согласилась, и мы поехали в ночное кафе на rue Royale. По стеклам автомобиля скатывались капли дождя, тускло блестя в свете фонарей.

— Почему вы думали, что матч выиграет Джон-

¹ Но он мертв! (англ.).

сон? — спросила она. Я подробно изложил ей мои соображения по этому поводу.

— Вы следили за американскими газетами?

— Это моя профессиональная обязанность.

Она замолчала. Мне почему-то было неловко в ее присутствии, и я начал жалеть, что пригласил ее в кафе. Каждый раз, когда автомобиль попадал в полосу фонарного света, я видел ее холодное и спокойное лицо, и через несколько минут я подумал о том, зачем, собственно говоря, я еду пить кофе с этой незнакомой женщиной, у которой такое отсутствующее выражение, как если бы она сидела в парикмахерской или в вагоне метро.

— Для журналиста вы не очень разговорчивы, — сказала она через некоторое время.

— Я вам обстоятельно рассказал, почему я думаю, что Джонсон выиграет матч.

— И этим ограничиваются ваши возможности, как собеседника?

— Я не знаю, какие темы вас интересуют. Я предполагал, что это главным образом бокс.

— Не всегда, — сказала она, и в это время автомобиль остановился. Через минуту мы сидели за столиком и пили кофе. Только тогда я разглядел как следует мою спутницу, вернее, заметил одну ее особенность: у нее был неожиданно большой рот с полными и жадными губами, и это придавало ее лицу дистармоническое выражение, — так, точно в нем было нечто искусственное, потому что соединение ее лба и нижней части лица производило даже несколько тягостное впечатление какой-то анатомической ошибки. Но когда она в первый раз улыбнулась, обнажив свои ровные зубы и чуть-чуть открыв рот, — в этом вдруг проскользнула выражение теплой и чувственной прелести, которое еще секунду тому назад показалось бы совершенно невозможным на ее лице. Я неоднократно вспомнил потом, что именно с этой минуты я перестал чувствовать по отношению к ней ту неловкость, которая связывала меня до сих пор. Мне стало легко и свободно. Я спрашивал ее о разных вещах, которые касались ее лично. Она сказала, что ее фамилия Армстронг, что у нее недавно умер муж, что она живет в Париже одна.

— Ваш муж был?..

Она ответила, что он был американец, инженер, что в течение последних двух лет она не встречалась с ним: она была в Европе, он оставался в Америке. Она получила телеграмму о его скоротечной смерти, находясь в Лондоне.

— У вас нет американского акцента, — сказал я. — Ваш акцент нейтрально иностранный, если так можно сказать.

Она опять улыбнулась этой улыбкой, которая всегда производила впечатление неожиданности, и ответила, что она русская. Я едва не привстал со своего места — и я до сих пор не знаю, почему тогда это показалось мне таким удивительным.

— А вы не подозревали, что имеете дело с соотечественницей?

Она говорила теперь на очень чистом русском языке.

— Согласитесь, что это трудно было предположить.

— А я знала, что вы русский.

— Преклоняюсь перед вашей проницательностью. Каким образом, если это не секрет?

— По глазам, — сказала она насмешливо. Потом она пожала плечами и прибавила:

— Потому что из кармана вашего пальто торчала русская газета.

Был уже второй час ночи. Я предложил ей отвезти ее домой. Она ответила, что поедет одна, что она не хочет меня беспокоить.

— Вас, наверное, зовут ваши профессиональные обязательства, не так ли?

— Да, я должен сдать отчет о матче.

Я твердо решил не спрашивать ее, где она живет, и не искать с ней никаких новых встреч. Мы вышли вместе, я довел ее до такси и сказал:

— Желаю вам спокойной ночи, всего хорошего. — Она протянула мне руку, на которую сразу упало несколько капель дождя, и ответила, улыбувшись в последний раз:

— Спокойной ночи.

Я не знаю, было ли это в действительности так или мне просто послышалось. Мне показалось, что и в ее голосе появилась и мгновенно исчезла новая интонация, какая-то звуковая улыбка, имевшая такое же значение, как это первое, отдаленное чувственное движение ее губ и зубов, после которого я перестал ощущать неловкость в ее присутствии. Не думая ни секунды о том, что я говорю, и совершенно забыв — так, точно его никогда не было, — о только что принятом решении ее ни о чем не спрашивать, я сказал:

— Мне было бы жаль расстаться с вами, не узнав ни вашего имени и отчества, ни вашего адреса. В конце концов, если ваш интерес к спорту носит постоянный характер, я мог бы, может, быть вам еще полезен.

— Это возможно, — сказала она. — Меня зовут Елена Николаевна. Вот мой адрес и телефон. Вы не записываете?

— Нет, я запомню.

— Вы так полагаетесь на вашу память?

— Совершенно.

Она сказала, что бывает дома до часу дня и вечером, от семи до девяти, захопнула дверь автомобиля и уехала.

В течение всей следующей недели я был очень занят, мне были нужны деньги, чтобы заплатить за множество вещей, о которых я почти не думал в последнее время, и поэтому я писал каждый день по несколько часов. Так как чаще всего речь шла о том, к чему я не был подготовлен, то мне приходилось предварительно ознакомиться с некоторым количеством материала.

Я чувствовал себя в эти дни легко и тревожно, — приблизительно, как во времена моей ранней юности, когда мне предстоял отъезд в далекое путешествие, из которого я, может быть, не вернусь. Мысль о моей спутнице в вечер матча Джонсона — Дюбуа неизменно возвращалась ко мне, и я знал с совершенной интуитивной точностью, что моя следующая встреча с ней — только вопрос времени. Во мне началось уже душевное и физическое движение, против которого внешне обстоятельства моей жизни были бессильны. Я думал об этом с постоянным беспокойством, так как я знал, что в данном случае я больше рискую своей свободой, чем когда бы то ни было — и чтобы в этом убедиться, было достаточно посмотреть в ее глаза, увидеть ее улыбку и почувствовать ту своеобразную и чем-то враждебную ее притягательность, которую я ощутил в первый же вечер моего знакомства с ней. Я не знал, конечно, какие чувства испытывала она по отношению

ко мне в эту февральскую ночь. Но хотя я видел ее, в сущности, только час, не больше — когда после матча мы были в кафе, — мне казалось, что ее улыбка и последняя интонация ее голоса не были случайны и что все это должно было повлечь за собой много других вещей — может быть, замечательных, может быть, печальных, может быть, печальных и замечательных одновременно. Но было, конечно, возможно, что я ошибался и что мои тогдашние ощущения были так же неверны и случайны, как смутные и расплывающиеся очертания домов, улиц и людей сквозь эту влажную и туманную завесу дождя.

Я вспомнил, что тогда, при прощании, она не спросила моего имени. Она ждала либо моего визита, либо моего телефонного звонка с той спокойной и почти безразличной уверенностью, которая мне казалась характерной для нее вообще.

Я позвонил ей ровно через восемь дней после матча.

— Алю, я слушаю, — сказал ее голос.

— Здравствуйте, — сказал я, называя себя, — я хотел узнать, как ваше здоровье.

В половине восьмого я входил в дом, в котором она жила; ее квартира была на втором этаже. Как только я позвонил, дверь отворилась — и я едва не отступил на шаг от удивления: передо мной стояла огромная мулатка, которая не произносила ни слова и молча смотрела на меня широко открытыми глазами. В первую секунду я подумал, не ошибся ли я этажом. Но когда я спросил, можно ли видеть мадам Армстронг, она ответила:

— Yes. Qui, Monsieur¹.

Она повернулась и направилась к второй двери, которая вела, по-видимому, в квартиру; она шла впереди меня, заполняя своим громадным телом всю ширину коридора. Потом она ввела меня в гостиную: на стенах висело несколько натюрмортов довольно случайного, как мне показалось, происхождения, на полу лежал синий ковер, мебель была синего бархата. Я рассматривал в течение нескольких секунд тарелку эллиптической формы, нарисованную желтой краской, и на которой лежало два разрезанных и три неразрезанных апельсина, — и в это время вошла Елена Николаевна. Она была в коричневом бархатном платье, которое ей очень шло, точно так же, как ее прическа, подчеркивавшая неподвижную прелесть ее лица, почти ненакрашенного. Но глаза ее показались мне на этот раз гораздо живее, чем тогда, во время моей первой встречи с ней.

Я поздоровался и сказал, что мулатка, отворившая мне дверь, произвела на меня сильное впечатление. Елена Николаевна улыбнулась.

— Ее зовут Анни, — сказала она, — я называю ее little Anny², помните, был когда-то такой фильм. — Да, little Anny ей очень подходит. Откуда она у вас?

Она объяснила мне, что Анни поступила к ней на службу в Нью-Йорке и ездит с ней теперь повсюду и что так как Анни жила некоторое время в Канаде, то говорит по-французски; кроме того, она прекрасна готовит, и в этом у меня будет немедленная возможность убедиться. Анни действительно была прекрасной кухаркой — я давно так не обедал.

Елена Николаевна расправляла меня о моих делах за эту неделю. Я рассказал ей о женщине, разрезанной на куски, об очередном банкротстве, об исчезновении молодого человека и, наконец, о газетном выступлении менеджера Дюбуа.

— Это и есть газетная работа?

— Приблизительно.

— И это всегда так?

— Чаще всего.

— И вы считаете, что это вам подходит?

Я пил кофе, курил и думал о том, насколько этот разговор был далек от моих чувств и моих желаний. Я был безмолвно пьян от ее присутствия, и чем дальше это продолжалось, тем сильнее ощущал, как от меня ускользает всякая власть над этим состоянием, которого не могли победить никакие усилия. Я знал, что веду себя совершенно прилично, и у меня ясные глаза и что я остаюсь нормальным собеседником, — но я знал так же хорошо, что эта видимость не могла ввести в заблуждение Елену Николаевну и она, в свою очередь, понимала, что я это знал. Естественнее всего было бы, если бы я сказал ей — моя дорогая, вы не ошибаетесь, считая, что этот разговор не имеет никакого отношения ни к тем чувствам, которые в данную минуту испытываете я, ни к тем, которые, вероятно, испытываете вы. И вы знаете так же хорошо, какие слова я должен был произнести сейчас. Но вместо этого я сказал:

— Нет, конечно, я предпочел бы заниматься литературой, но, к сожалению, это не получается.

— Вы бы предпочли писать лирические рассказы?

— Почему непременно лирические рассказы?

— Мне кажется, что это должен был бы быть ваш жанр.

— И это говорите мне вы, после того, как мы познакомились с вами во время матча и после того, как вы — я надеюсь — оценили хотя бы мои предсказания об его исходе?

Она опять улыбнулась.

— Может быть, я ошибаюсь. Но мне все почему-то кажется, что я знаю вас уже очень давно, хотя вижу вас второй раз в жизни.

Это было ее первое признание и первый шаг, который она сделала.

— Говорят, это очень тревожный признак.

— Я не боюсь, — сказала она со своей необычайно жадной улыбкой. Я видел ее улыбающийся рот, ее ровные и крепкие зубы и тускло-красный цвет ее немного накрашенных губ. Я закрыл глаза, я ощущал бурную чувственную муту. Но я сделал над собой необыкновенное усилие и остался сидеть в своем кресле с внешне спокойным — как я предполагал — видом, хотя каждый мускул моего тела был напряжен до боли.

— Вы закрываете глаза, — сказал ее далекий голос, — не хочется ли вам спать после обеда?

— Нет, я просто вспомнил одну фразу.

— Какую?

— Это сказал царь Соломон.

— Далеко мы с вами заехали.

Это «мы с вами» было ее второе движение.

— Что же это за фраза?

— Она отличается некоторой метафорической роскошью, — сказал я, — которая теперь, на наш слух, кажется несколько спорной, в смысле стилистическом, конечно. Но я надеюсь, вы примете во внимание на стр. 52

¹ Да (англ.). Да, господин (фр.).

² Крошка Анни.



ПЕРЕКРЕСТКИ СУДЬБЫ

Скажу заветное

С поэтом Бахытом Кенжеевым мы встретились на Тверском бульваре. Человек он стремительный. Говорит легко, не увертываясь, ничуть не сердясь на весь божий мир, хотя жизнь его непроста.

— Литературой никто не живет на Западе, особенно русской. И конечно же, там трудно. Это совершенно иная жизнь. Создано столько мифов... И много неправды... Чтобы понять — надо оказаться там и прожить хотя бы с полгода, без всего и без всех.

Я начинал без гроша! — добавляет он. — С одной ответственностью, и не только за себя...

На Тверском бульваре играли дети, грелись на первом весеннем солнышке пожилые люди. Бахыт закурил.

— Хлебнул вволю, что и говорить... поэтому отношусь с

осторожностью, когда вещают о каких-то «мифических золотых горах» или ругают правительство Штатов за то, что не осыпают приехавших деньгами... — Он смолкает и вдруг с горечью добавляет: — Ничего, проживете, господа хорошие! Везде надо работать... Работать!
— Но как вы сами-то выжили?

— Что значит выжил? —

тихо переспрашивает он. — А что оставалось? Постоянная, вечная работа. Почасовик. Вечный стресс, каждый миг напряжен. У нас здесь не все это понимают. Из Союза едут туда, ожидая увидеть вторую Россию плюс... всевозможные блага. А разница между Россией и Америкой такая же, как, скажем, между Россией и Китаем.

Вспоминается разное, — продолжал он, — ...но никогда не забудется, как вызвали и сказали: «Тебе не в Канаду надо, а на Колыму, там твое место!»

— А ваши прежние друзья? Они изменились, какими вы застали их по возвращении?

— Нет, нет. Правда, писать стали меньше в последние три года. Но жизнь меняется, и надо менять себя. У всех вначале был всплеск надежд, а сейчас как-то особенно трудно. Такое ощущение, что литература вообще не нужна, а поэзия и вовсе... Кругом одна политика...

— А как вам пишется там?

— Пишется хорошо. Конечно же, здесь моя Родина, здесь я чувствую себя человеком, а там — техническим переводчиком (это моя основная работа, на поэтическое ремесло на Западе не живут). Но скажу откровенно — моих книг здесь быть не могло бы.

Конечно же, я тоскую по своему, но испытываю ностальгию не по небу, травке, березке... А ощущаю горечь... горечь по утраченному времени, которое никогда не возвратится, и ЭТО ВРЕМЯ, вероятно, вмещает и все остальное. Все... жизнь.

Скажу еще заветное, на самом деле я — постмодернист, и мой образ (Бахыт, вероятно, говорил о поэзии, а мне подумалось и о своей такой сложной жизни) построен на принципе нелогической связи, и это понимание моей природы, моей поэзии для меня очень важно...

Мария Камышанова

Хорошая литература — это Божий дар человечеству. Политика проходит, а поэзия остается.

Бахыт



Бахыт Кенжеев

Ну что молчишь, раскаявшийся странник?

Промок, продрог?

Ты — беженец, изгой, а не изгнанник

И не пророк.

Держись, держись за роль в грошовой драме,

Лишь вдохновения не трать.

Лицом к лицу с чужими городами

Учись стоять.

А если смерть и нет пути обратно,

Давай вдвоем

Мурлыкать песенку о невозвратном,

Читай — родном,

О тех краях, где жили не тужили,

Перемогая страх,

Где небольшие ангелы кружили

В багровых небесах,

И на исходе грозного заката

Рождался стих,

И пел, и улыбался воровато

Один из них...

Снова осень, и снова Москва.

Неприкаянная синева

Так и плещется, льется, бледнеет.

Снова юность и родина, где

Жизнь кругами бежит по воде

И приплывть никуда не умеет.

Где-то с краешка площади — ты.

Покупаешь в киоске цветы,

Хризантемы, а может быть, астры —

Я не вижу, мне трудно дышать,

И погода России под стать,

Холодна, холодна и прекрасна.

Ждать троллейбуса, злиться, спешить,

Словом — быть, сокрушаться, любить —

Вот и все в этой драме короткой.

Ей не нужен ни выстрел, ни нож.

Поглядишь на часы, и вздохнешь,

И уйдешь незнакомой походкой

В переулок. Арбатские львы,

Дымный запах опавшей листвы,

Стертой лестницы камень подвальный

И цветы на кухонном столе —

Наша жизнь в ненадежном тепле

Хороша, хороша и печальна.

Если можешь — не надо тоски.

Оборви на цветах лепестки,

Наклонись к этой книге поближе.

Пусть, вдогонку ночному лучу,

Никогда, — я тебе прощепчу, —

Никогда я тебя не увижу.

Всю жизнь торопиться, томиться и вот

добраться до края земли,

где медленный снег о разлуке поет

и музыка меркнет вдали.

Не плакать. Бесшумно стоять у окна,

глазеть на прохожих людей

и что-то мурлыкать похожее на

«Ямщик, не гони лошадей».

Цыганские жалобы, тютчевский пыл,

альябьевское рококо!

Ты любишь романы? Я тоже любил.

Светло это было, легко.

Ну что же, гитара безумная, грядь,

попробуем разворошить

нелепое прошлое, коли и впрямь

нам некуда больше спешить.

А ясная ночь глубока и нежна,

могильная вянет трава,

и можно часами шептать у окна

нехитрые эти слова...

Открыть глаза — и с неба огневого

ударит в землю звездная струя.

Еще темно, а сон пылает снова,

и я тебе не друг и не судья.

Трещит свеча. Летучий сумрак светел.

Вбегай в него тропинкою любви.

Я засыпал, но там тебя не встретил —

когда умрешь, возьми меня с собой.

И тень моя, как газовое пламя,

оставит охладевшее жильё,

чтобы унять бесплодными губами

горячее дыхание твоё.

Не призрак, нет, скорее пробуждение.

Кружится яблоко на блюде золотом.

Что обещать на счастье в день рождения,

чтобы обиды не было потом?

Еще озимые не вышли из-под снега,

лежит колодец в черном серебре,

и злое сердце в поисках побега

колочей льдинкой плещется в ведре.

И грустный голос женщины влюбленной,

в котором явь и кареглазый свет,

своей прозрачностью и ночью опаленной

перебивает пение планет.

Утонул в тумане отчий дом,
Затянуло память первым льдом.
А за ним пойдет второй и третий.
Засыхай, репейник, на корню —
Никого в разлуке не виною,
Разве только воду, землю, ветер,
Разве только выцветший огонь
Фонаря, упавший на ладонь,
Высветивший линию кривую.
Не споткнись на темной тропке в рай,
Что же ты замешкался — ступай,
Что стоишь, печалась и ревнуя?

Старыми бумагами шурша,
Словно мышь, шевелится душа,
Даже свечки восковой боится.
Скоро, скоро тонкой догореть.
Звездам — жить, а сердцу — умереть
И навряд ли заново родиться.

Года убегают. Опасностью древней
источены зимние дни.
Мечтать об отставке, о жизни в деревне,
о скрипе вермонтской лыжи.
Углы в паутине и в утреннем инее,
у милой растрепанный вид,
сырые поленья стреляют в камине,
и чайник сердито свистит.

Мы с возрастом явно становимся проще.
Все чаще толкает зима
выдыхать о покое, березовой роце,
взбегущей по склону холма.
И даже минувшее кажется сущей
находкой, когда у ворот
в заржавленном джипе какой-нибудь Пушкин
цыганскую песню поет.

А что ж не в Михайловском? В Северодвинске?
Не спрашивай. Лучше налей
за то, как судьбу умолял Баратынский
не трогать его чертежей,
как друг его лучший, о том же тоскуя,
свалился, чужак человек,
последним поэтом — в пучину морскую,
звездой — на мурановский снег.

В вермонтском безлюдье, у самой границы
с Канадой, где кычет сова
о том, что пора замолчать, потесниться,
другим уступая права
на вербную горечь, апрельскую слякоть,
на черную русскую речь, —
вот там бы дожить, досмеяться, доплакать
и в землю холмистую лечь...

Снятся ли сны? Ну конечно. Вчерашний, к
примеру —
то ли на Пушкинском, то ли на Звездном
бульваре
в дверь колочу кулаками, в свою же квартиру
силось пробраться — не слышат, не открывают.

Главное в снах, что они неподвластны контролю
разума. Сообрази, разве в здравом уме и
памяти трезвой я стал бы по собственной воле
рваться туда, где бывало гораздо грустнее,

чем в настоящем? Уволь, ни за что не полену.
Крепкие двери казенным обиты железом,
новый жилец, против всех человеческих правил,
волчьи капканы там вместо запоров поставил.

Выйду на улицу, воздух слоистый прохладен,
как у стекольника в ящике блещет, двоится.
«Это мой дом, — вывожу аккуратно в тетради, —
это моя ро...», а дальше пустая страница.

Дальше косяя линейка, лиловая клетка,
столбики цифр, и опять я в разлуку не верю
и до утра, на манер обезьяньего предка,
все колочу, колочу в бесполезные двери...

То ли выдохся хмель, то ли скисло вино,
то ли муха жужжит у виска.
Есть у времени вредное свойство одно —
на пространство глядеть свысока.

В паутиных углах дорогого жилья
знай талдычит, в глазах мельтеша:
Хороша ль контрабандная участь твоя?
Отвяжись, говорю, хороша.

Отчего ж, донимает, в раскладе таком
не особо вам сладко вдвоем?
Оттого, что другая — с иглой, с гребешком —
в изголовье томится моим.

И как всякая плоть, осужденная ждаты,
с мирозданием наедине,
загляну ей в глаза, отвернусь и опять
пустоту обнимаю во сне.

И украдкой зима подступает, как встарь,
воротник роковой серебри.
Недурное наследство получит январь
от стареющего декабря.

И темнеющий запад, блистая тайком
перед тем как пойти с молотка,
алым шелком затянут, железным серпом,
ниже горла надрезан слегка.

А дворами по-прежнему ветер и свист,
пляшут крылья сырого бела.
Ненаглядный дружок мой, осиновый лист,
наострился в иные края.

Собеседник, товарищ, евангельский тать,
хоть из кожи наделай ремней —
только ради Христа, не берись сочинять
последствия к жизни моей.

Понять, принять и возродить

«Рожденные в года глухие, пути не помнят своего...». Поколение глухих годов, оторванное от своих корней и не знающее своей истории, поколение манкуртов, шариковых и иванов денисовичей... Куда могло оно привести Россию? Куда уже привело? История не прощает ошибок, она вскрывает их с беспощадной жестокостью во благо будущего. Но будущее без прошлого — блеф, эфемерность. Понять, принять и возродить прошлое, былую российскую славу — такова одна из главных задач программы года русской культуры. Года 1991-го. Но сама программа действует уже сейчас и будет действовать на протяжении десятилетия.

— Честно говоря, я думаю, что познавательные цели в программе должны быть на сто десятом месте, — говорит генеральный директор программы Владислав Константинович Епишин. — Точнее, они органично связаны с фундаментом, с базой, а это — аксиология, то есть мы должны предложить мировому сообществу ту систему духовных ценностей, которые выработались за тысячелетие развития Руси, и которая поможет выйти из глобального кризиса. Вторая цель — восстановить утерянное доверие между диаспорой и метрополией. Она очень злободневна на сегодня. И третье — создать инфраструктуру на всех пяти континентах. За последние шестьдесят — шестьдесят пять лет мы выпали из мировой культуры, и вернуться в нее — наш долг и святая обязанность!

— Мне кажется, что сохранение и соблюдение русских традиций присуще все же в первую очередь нашим землякам, живущим за рубежом...

— Сохранить традиции трудно как в метрополии — во внутренней России, так и оторванным от почвы русским эмигрантам. Но надо сказать, что русская культура едина, и это от-

мечают многие ученые, например, профессор Вольфганг Казег (ФРГ), который долгое время занимается проблемами русской культуры по обе стороны «железного занавеса» и, в частности, выпустил недавно «Энциклопедический справочник», рассказывающий обо всех русских писателях за последние 70 лет.

— Я знаю, что ваша программа включает в себя очень много разнообразных мероприятий как на уровне Министерства культуры Союза, так и на уровне ЮНЕСКО и ООН. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее.

— Прежде всего нужно разделить нашу программу, которая, кстати, является неправительственной программой, на три блока. Я еще раз хочу подчеркнуть, что, несмотря на то, что у нас будут принимать участие и Министерство культуры во главе с Н. Н. Губенко, и Госкино с А. И. Камшаловым, программа в целом неправительственная. Итак: первый блок — это создание новых институтов, новых учреждений прежде всего в Российской Федерации. Мы уже создали Российскую Академию экранных искусств, так называемую Киноакадемию, которая функционирует с марта 1989 года. Школу русского балета в Швейцарии. Руководители шко-

лы — Екатерина Максимова и Владимир Васильев. Затем создали Русско-американский институт нелинейной физики во главе с членом-корреспондентом АН СССР Владимиром Евгеньевичем Захаровым.

И еще много организаций уже создано или планируется, но особенно мне хотелось бы обратить внимание читателей на совершенно необычный, специфический «Центр русской культуры имени Шукшина», который возглавляет известный актер Георгий Бурков. Эта организация особенно активно начала работать в провинции, в глухих уголках, занимаясь поисками, выращиванием и сохранением молодых талантов. Первый блок имеет очень разветвленную структуру, и еще у нас есть несколько секретов, о которых я пока просто не буду рассказывать.

Второй блок — это постоянно действующие мероприятия типа кинофестивалей, театральных и музыкальных фестивалей, литературных концертов, которые будут проводиться и на территории Союза, и за рубежом. И, наконец, третий блок, который связан с эпизодическими мероприятиями, характерными именно для 1991 года, то есть в миру мы будем праздновать 600-летие Сергея Радонежского, возрождение Оптиной пустыни, мы будем отмечать 100-летний юбилей Михаила Булгакова, Осипа Мандельштама, Сергея Прокофьева, Михаила Чехова, которого особенно любят и знают в Русской Америке. В 1991 году будет юбилей 12 академиков, в частности, филологов Конрада и Жирмунского, математиков Виноградова и Мосхалевши, геолога Белова...

Мы ждем, что все люди, кому небезразлична судьба русской культуры, примут участие в нашей программе. Мы надеемся на сотрудничество со всеми кафедрами славистики мировых университетов, со всеми русскоязычными издательствами, русскими библиотеками, галереями, концертными залами... Мы хотим создать единый компьютеризированный архив русской культуры, мы хотим создать интеллектуальные музеи, то есть музеи мыслительной деятельности человека, существующие на листе бумаги. Не в камне, дереве, как, допустим, Эрмитаж, а

именно на листе бумаги мы можем построить, например, все стилистические направления современного русского языка, прозы и поэзии, зафиксировать все школы и оценить их относительную значимость.

— *То есть их можно назвать музеем звука, слова, знака?*

— И да, и нет! Здесь важно еще раз подчеркнуть то, что это — отображенная мысль. Да, это музей слова — литературы, звука — музыки, цвета и света — живописи, но прежде всего — это то, что предшествует Эрмитажу, музею в камне.

— *И все же: национальная проблема для нашего современного общества сегодня чрезвычайно остра. Не противоставите ли вы русскую национальную культуру культуре интернациональной? Не приведет ли это прежде всего к обособлению русских внутри страны, к внутренней замкнутости?*

— Оргкомитет программы «Год русской культуры», объединяющий 15 академиков, 5 митрополитов, выдающихся деятелей литературы и искусства, исходит из того, что эта программа принципиально междунациональная. Я могу привести пример празднования 100-летия со дня рождения Осипа Мандельштама, великого русского поэта! Я очень хочу, чтобы все читатели поняли: интеллектуальный уровень русского праздника резко отличается от подходов, скажем, известного общества «Память» и противопоставляет себя такому подходу. Идеология праздника опирается на заветы Достоевского, высказанные им в знаменитой «Пушкинской речи». Он говорил об отвязчивости русской культуры, об открытости, о всемирной значимости русского характера, и прежде всего души художника.

— *Итак, кульминацией станет 1991 год, а десятилетие русской культуры, объявленное ООН, уже началось... Беседу вела Наталья Бекетова*

ДОСЫЛ В НОМЕР

В связи с тем, что подписка на 1991 год начинается только 1 сентября, срок отправки заявки на книгу «Библиотеки Ст. М.» (условия см. в № 7) продлевается до 1 ноября.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ

«Под куполом добра»

Наша жизнь так стремительна и быстротечна, что события даже двухгодичной давности воспринимаются как дела давно минувших дней. Два года тому назад мне пришлось с трепетом переступить порог ленинградской квартиры И. В. Одоевцевой. Какая будет встреча? Как Ирина Владимировна отнесется к своим будущим редакторам? Я волновалась не только потому, что за рубежом отсутствует как таковой институт редакторов. Ведь Ирина Владимировна, по существу, представитель другой эпохи, современница И. Бунина, О. Мандельштама, ученица Н. Гумилева, друг и жена Г. Иванова. Какие имена, какие судьбы!..

Но страхи мои оказались напрасными. Меня встретил благожелательный автор, интересный собеседник. Все подготовленные вопросы по тексту были быстро сняты, и наступило время общения. Ирина Владимировна действительно человек той эпохи: изысканная манера вести беседу, перемежая свою речь французскими, немецкими и английскими фразами, и, повторюсь еще раз, самая искренняя доброжелательность ко всем. Это отмечают и многочисленные почитатели ее таланта в нашей стране.

Ирина Владимировна получает много писем из разных уголков нашей страны. Вести переписку помогает ее литературный секретарь С. А. Жуковичка. Светлана Александровна рассказала, что пишут Ирине Владимировне не только люди старшего поколения, но и молодежь. Читатели благодарны писательнице за то, что она, по словам автора одного из

писем: «вырвала из забвения имена» многих поэтов «серебряного века» русской поэзии, «воскресила их для людей 80-х годов».

Чем же привлекательны для молодых книги Одоевцевой? Им представляется, как юной читательнице из г. Жуковского Московской области, что раньше «мир не был так жесток, жизнь не была так беспощадно-стремительна» и у людей «было стремление к счастью, к красоте». Так ли наивны эти «мечты о прошлом»? Нет ли в этой своеобразной реакции на захлестнувшие печать, радио и ТВ бесконечные разоблачения, неостановимые самобичевания, призывы к всеобщему покаянию? Действительно, без прошлого нет настоящего, но, сосредоточивая все свои силы на осмыслении прошедшего, не забываем ли мы, что есть и будущее и нам в нем жить? И то, каким оно будет, зависит уже только от нас, от того, что мы возьмем в него. Хотелось бы, чтобы мы не забыли взять стремление к красоте и свету, благожелательность и доброту, которые сумела сохранить, несмотря на все повороты жизни, И. В. Одоевцева.

Я связалась по телефону с Ленинградом и попросила Ирину Владимировну сказать несколько слов для читателей «Студенческого меридиана». Вот что она сказала: «Я приехала сюда для того, чтобы подарить читателям свои книги. Я хочу, чтобы Россия жила под куполом добра. И если молодежь любит поэзию, любит мой книги — это самый большой подарок мне по возвращении на Родину».

Валентина Лапочкина



ПОЭЗИЯ



Ирина Одоевцева

Я во сне и наяву
С наслаждением живу.
И. О.

В чужой стране,
В чужой семье,
В чужом автомобиле...
При чем тут я?
Ну да, конечно, было, были
И у меня

Моя страна,
Мой дом,

Моя семья

И собственный мой черный
пудель Крак.

Все это так,
Зато потом,
Когда февральский грянул
гром —

Разгром,
и крах,
И беженское горе, и
Моря — нет — океаны слез...
И роковой вопрос —
Зачем мы не остались дома?
Давно наскучивший рассказ
О нас,

Раздавленных колесами
истории.
Не стоит вспоминать о том,
Что было. Было, да прошло
И лопухом
забвенья поросло...
...Хрустальный воздух
Пиреней.

Все безрассудней, все нежней
Вздыхает сердце.
На высоте
трехтысячестровой —

Где снег небесно-голубой —
Жизнь кажется
волшебной-новой,
Как в девятнадцать лет
На берегах Невы.

Орел бесшумно со скалы
Взметнулся ввысь
И полетел
К Престолу Божьему,
Должно быть.
— Мгновение, остановись!
Остановись и покатысь
Назад:

В Россию,
В юность,
В Петроград!

Крик сердца,
До чего банальный крик,
Лишенный волшебства
И магии.

Ведь знаю я,
Что этот миг
Не остановится
И не покатысь назад,
И не вернуться мне,
Моя страна,

Моя семья,
Мой дом,
Мой черный пудель
Крак.

Я не многострадальный Иов,
Который после всех утрат
Стал снова славен и богат —
Славнее и богаче во сто крат.

Не будет у меня, как у него,
Ни сыновей, ни дочерей,
Ни сказочных двorcов,
Ни роц оливковых,
Ни аравийских скакунов,
Верблюдов, коз, овечьих стад,
Ни шелковых ковров,
Ни слуг покорных,
Ни драгоценностей
библейских...

Не будет ровно ничего
И никого.
Не будет даже канарейки,
Герани на окне,
Зеленой лейки —
То, что доступно каждой
швейке,
Но недоступно мне.

И все-таки наперекор всему —
Сама не понимая, почему, —
Наперекор безжалостной
судьбе

И одиночеству
По-прежнему во сне и наяву
Я с наслаждением живу.

1962

Гайто Газданов

Призрак Александра Волфа



Окончание. Начало на стр. 29

внимание тот факт, что это было написано очень давно.

— Боже, как вы многословны! Какая фраза?
— Царь Соломон сказал, что не понимает трех вещей.

— Каких?
— Путь змеи на скале.
— Это хорошо.
— Путь орла в небе.
— Тоже хорошо.
— И путь женского сердца к сердцу мужскому.
— Этого, кажется, никто не понимает, — сказала она с неожиданно задумчивой интонацией в голосе. — А вы находите, что это неудачно сказано? Почему?

— Нет, это, может быть, плохой перевод. Во всяком случае, последняя часть фразы звучит нехорошо. «Путь женского сердца к сердцу мужскому» — в этом есть что-то от учебника грамматики.

— Я не иду так далеко в стилистическом анализе. А вы любитель царя Соломона?

— С некоторыми оговорками. Многие из того, что он написал, мне кажется недостаточно убедительным.

Был зимний и сумрачный вечер, в квартире было очень тепло. Елена Николаевна сидела в кресле, против меня, положив ногу на ногу, мне были видны ее колени и всякий раз, когда я смотрел на

них, мне становилось душно и тяжело. Я чувствовал, все это — с моей стороны — начинает становиться неприличным.

Я наконец поднялся, поблагодарил ее за гостеприимство и собрался уходить. Но когда она протянула мне свою теплую руку и я ощутил ее прикосновение к моим пальцам, я так же мгновенно забыл о намерении уйти, как тогда, ночью, прощаясь с ней, я забыл о том, что решил не спрашивать, где она живет, и не искать с ней встреч. Я притянул ее к себе — она поморщилась от боли, которую у ей невольно причинил, слишком сильно сжав ей руку, — когда я обнял ее, я почувствовал всю поверхность ее тела. Только позже, вспоминая об этом, я понял, что это ощущение в ту секунду не могло не быть воображаемым: на ней было очень плотное бархатное платье.

Я знал, что всякая женщина на ее месте должна была мне сказать одну и ту же фразу:

— Вы с ума сошли.

Но она ее не сказала. Мне казалось, что я приближаюсь к ее лицу точно сквозь смертельный сон. Она не делала ни одного движения и не сопротивлялась, но в последнюю секунду она повернула голову налево, подставив мне шею. Ее платье было застегнуто длинным рядом бархатных пуговиц на спине, очень тугих и нескольких. Когда я расстегнул две верхние пуговицы, она сказала все тем же спокойным, хотя, как мне показалось, несколько помутневшим голосом:

— Здесь нельзя, подождите. Пустите меня на минуту.

Я выпустил ее, она пошла в другую комнату, и я последовал за ней. Мы сделали всего несколько шагов, но в эти секунды я успел подумать о том, с какой неожиданной и, в сущности, неестественной быстротой все это произошло. От вечера моей первой встречи с ней меня отделяло только восемь дней, — но это было длительное и огромное расстояние. Я знал, что обычно мои чувства, несмотря на ту их примитивную силу, которая была главным моим недостатком, развивались всегда с тяжелой медлительностью; но на этот раз все восемь дней я находился во власти их движения и все-таки до последней минуты не мог себе представить, насколько глубоко и безвозвратно это захватило меня. Я думаю, что в силу необъяснимого, как всегда, чувственного совпадения Елена Николаевна испытывала приблизительно то же, что я; ее ощущения были похожи на мои, — так, как вогнутое стекло похоже на выгнутое, одинаковым изгибом, результатом одного и того же двойного движения. В этом была та же непонятная стремительность, казавшаяся для нее еще менее характерной, чем для меня. Эти мысли были смутными и неверными, как все, что я тогда чувствовал, я только позже вспомнил о них, и они приобрели в моем представлении ту приблизительно отчетливую форму, которой они не могли иметь в течение этих коротких секунд. Они, кроме того, казались мне тогда совершенно неважными.

Она пропустила меня вперед, потом затворила дверь и повернула ключ в замке.

Ее нельзя было назвать — по крайней мере, по отношению ко мне, — замечательной любовницей, у нее были медлительные физические реакции, и последние секунды объятий нередко заставляли ее испытывать какую-то внутреннюю боль — и тогда глаза ее закрывались и лицо делало невольную три-

масу. Но ее отличие от других женщин заключалось в том, что она вызывала крайнее и изнурительное напряжение всех сил, и душевных и физических, — и в смутном отношении того, что близость с ней требует какого-то безвозвратно разрушительного усилия; в безыщисленности этого предчувствия состояла, я думаю, ее непреодолимая притягательность. И после первого ощущения ее физической близости я знал уже с совершенной невозможностью ошибиться, что этого я не забуду никогда и что, может быть, это будет последним, о чем я вспомню, умирая. Я знал это заранее и знал, что, как бы ни сложилась моя жизнь, ничто не спасет меня от непоправимо тиготного сожаления об этом, потому что все равно это исчезнет, поглощенное смертью ли, временем ли, или расстоянием, и внутренне ослепительная сила этого воспоминания займет в моем существовании слишком большое душевное пространство и не оставит места для других вещей, которые еще, может быть, были мне суждены.

Была уже глубокая ночь, Елена Николаевна не могла скрыть своей усталости. Я чувствовал себя как в лихорадке, глаза мои были воспалены, и мне казалось, что я испытываю ощущение какого-то незримого ожога. Я ушел в четвертом часу утра; была холодная и звездная ночь. Мне хотелось пройтись, я шагал по пустынным улицам — и тогда, тоже впервые за всю мою жизнь, я почувствовал состояние необыкновенно прозрачного счастья, и даже мысль о том, что это может быть обманчиво, не мешала мне. Я запомнил дома, мимо которых я проходил, и вкус зимнего холодного воздуха, и легкий ветер из-за поворота, — все это были вещи, которые сопровождали мое чувство. Я испытывал именно ощущение прозрачного счастья, казавшееся особенно неожиданным после того, как я несколько часов видел перед собой эти спокойные глаза, в выражении которых для меня было нечто унизительное, потому что мне не удалось изменить его.

И когда я проснулся на следующий день, то, что меня окружало и к чему я так привык, весь мир людей и вещей, в котором обычно проходила моя жизнь, — все показалось мне изменившимся и иным, как лес после дождя.

Я расстался с ней почти на рассвете — и на следующий день в час пополудни я снова подходил к подъезду ее дома.

Ани сказала мне, что Madame сейчас выйдет, и провела меня в столовую. Небольшой стол был уже накрыт, на нем стояло два прибора и бокал для вина — и в одном из них, точно наполняя его невидимой прозрачной жидкостью, играла световая тоненькая струйка; я вспомнил тогда, что была солнечная, зимняя погода. Я сидел в кресле и курил папиросу. Я заметил, что курю папиросу только в ту минуту, когда упавший пепел обжег мне руку и попал мне в рукав.

Елена Николаевна вошла в комнату за несколько секунд до того, как Ани стала подавать завтрак. Перед этим она только что приняла ванну и не дала себе труда одеться. Она была в купальном халате, волосы ее были зачесаны назад, и это придавало ее лицу особенную четкость очертаний и одновременно с этим выражение душевной и физической уюности, неожиданное и приятное. Она спросила меня

с иронической нежностью в голосе, хорошо ли я спал и есть ли у меня аппетит. Я ответил утвердительно, не сводя с нее глаз. Она тоже изменилась, как все, что я видел вокруг себя, с ее лица исчезло то выражение отчужденности, которое я знал до сих пор. Когда она наклонилась над столом, я увидел крупную родинку под ее правой ключицей, — и по мне сразу прошла теплая волна благодарности и нежности к ней, и тогда я поймал ее остановившийся взгляд.

— О чем ты думаешь? — спросил я.

— О том, что мы с тобой так недавно знакомы и что вот, мне кажется, я никогда не знала никого, кто был бы мне ближе, чем ты.

Потом она прибавила:

— Я не всегда буду говорить тебе такие вещи, так что лучше не привыкай.

Она налила в бокалы вино, — какое-то особенное, — душистое и крепкое, и как ни плохо я разбирался в винах, даже я не мог не заметить, что оно, вероятно, очень хорошее, — и сказала:

— За что мы с тобой выпьем?

— За то, чтобы мы не привыкли, — сказал я.

После завтрака мы сидели с ней очень долго за кофе. В солнечном свете, проникавшем через окно, вилась и исчезала струя папиросного дыма. Она так и осталась в купальном халате, и когда я ей заметил это, она ответила с улыбкой:

— Я никого не жду, мне не для кого одеваться. Что касается тебя, то мне кажется, что ты предпочитаешь меня даже без купального халата, и все вообще так нетрудно предвидеть. Нет, подожди, — сказала она, видя, что я сделал движение, чтобы подняться с кресла. — Подожди, я здесь, я никуда не уйду — и у меня нет желания уходить от тебя. Но я хотела поговорить с тобой. Расскажи мне, как ты жил до сих пор, кого ты любил и как ты был счастлив.

— Я не знаю, с чего начать, — сказал я. — Это сложно, долго и противоречиво. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я думаю, что именно сегодня по-настоящему начинается жизнь, мне кажется, что мне немногим больше шестнадцати лет и что тот человек, который знает столько трагических и печальных вещей, тот, который вчера ночью засыпал на моей кровати, — мне чужд и далек, и я не понимаю ни его душевной усталости, ни его огорчений. И каждую ночь, засыпая, я чувствую себя так, точно я прожил очень долгую жизнь, и все, что я из нее вынес, это отвращение и груз долгих лет. И вот, идет день, и по мере того, как он подходит к концу, эта орава душевной усталости все глубже и глубже проникает в меня. Но это, конечно, не рассказ о моей жизни. Это я говорю тебе о том, как я себя чувствовал обычно влоть до того вечера, когда у тебя не оказалось — к счастью — билета на матч.

— Ты сравнительно молод и совершенно, по-моему, здоров, — сказала она. — И что бы ты мне ни говорил, я плохо верю в твою душевную усталость. Если бы ты сам мог видеть себя в некоторые минуты, ты бы понял, почему твои слова об усталости звучат так необдуманно.

— Я никогда не говорил, что я могу ощущать душевную усталость по отношению к тебе. И когда я вижу тебя...

— То это так, как если бы это было утро?

— То это так, как если бы это было утро.

— Но мы уклонимся от главного, — сказала

она.— Где ты родился, где ты рос, куда и почему ты уехал и как твоя фамилия? — потому что до сих пор я знаю только твое имя. Где ты учился и учился ли ты вообще?

— Да,— сказал я.— Вероятно, напрасно, но учился я долго и довольно разным вещам.

И я стал рассказывать ей о себе. Мне казалось, что никогда до этого дня моя собственная судьба не была мне так ясна, как теперь. Я нашел в своих воспоминаниях много такого, чего я раньше не замечал, какие-то почти лирические вещи — и я только смутно чувствовал, не переставая говорить, что если бы не было Елены Николаевны, я бы, наверное, не сумел обрести их внезапно возникшую силу и свежесть, которой, быть может, даже вообще не существовало вне мысли о ней и вне присутствия рядом со мной этой женщины в купальном халате — с гладко причесанными волосами и далеким взглядом задумчивых глаз.

* * *

Я не мог не заметить, что главным отличительным признаком моего отношения к ней было то, что не существовало, казалось, ни одной минуты, в течение которой я не испытывал бы постоянно обостренного чувства. Если это не было желание ее близости, то это была нежность, если это не была нежность, то это была целая последовательность других чувств или душевных состояний, для определения которых я не знал ни слов, ни возможности найти эти слова. Во всяком случае, ее существованию я был обязан возникновением мира, которого не знал до сих пор. Я не представлял себе, что значит физическая близость женщины — мне было странно подумать, что я мог бы сравнить это с моими прежними романами. Я знал, что каждая любовь, в сущности, неповторима, но это было очень схематическое и приблизительное утверждение; при сколько-нибудь внимательном отношении к этому сходство всегда можно было найти, неповторимость заключалась в некоторых случайных оттенках некоторых случайных интонаций. Теперь это было другое, непохожее на предыдущее, и во всем своем душевном опыте я не находил ничего, что напоминало бы мне мое теперешнее состояние. Мне казалось, что после разрушительного усилия этой любви у меня не осталось бы сил ни на какое другое чувство, и я ничто, наверное, не мог бы сравнить с этим нестерпимым воспоминанием. Где бы я ни был и что бы я ни делал, мне было достаточно задуматься на несколько секунд, чтоб передо мной появились ее лицо с далекими глазами, ее улыбка, в которой было такое наивное бесстыдство, как если бы она стояла совершенно голая. И вместе с тем, несмотря на всю силу моего физического тяготения к ней, это было непохоже на самую бурную страсть, потому что в этом, как мне казалось, всегда проходила струя ледяной чистоты и какой-то удивительной и нехарактерной для меня бескорыстности. Я не знал, что был способен к таким чувствам; но я полагаю, что они были возможны только по отношению к ней — и в этом заключалась для меня ее настоящая неповторимость и замечательность.

Как всегда в моей жизни, всякий раз, когда передо мной возникало нечто новое, я не мог сказать, что именно вызвало его из небытия. Думая о том, что, собственно, в Елене Николаевне создавало ее непреодолимую для меня притягательность, я не

находил ответа. Я знал женщин, которые были красивее ее, я слышал голоса более мелодичные, чем ее голос; неподвижное ее лицо и унизительно спокойные глаза могли бы, казалось, произвести на меня скорее тягостное впечатление. Она была лишена той душевной теплоты, которую я так ценил, в ней почти не было нежности, или, вернее, она проявлялась чрезвычайно редко и всегда как будто нехотя. В ней не было никакой «очаровательности», это понятие совершенно не подходило к ней. И все-таки именно она была неповторима и замечательна в моем представлении, и этого ничто не могло изменить.

Ее нельзя было бы назвать скрытной; но мне очень долго не приходилось слышать от нее каких бы то ни было высказываний, которые бы ее лично характеризовали, хотя я говорил с ней на самые разные темы; она обычно молча слушала или отвечала односложно. Когда я ее спрашивал о чем-нибудь, она не хотела отвечать, и я этому неизменно удивлялся, она замечала:

— Не все ли тебе равно?

Или:

— Какой это может иметь интерес?

А меня интересовало все, что ее касалось, и мне хотелось знать, что было с ней до нашей встречи.

Для нее была характерна своеобразная душевная медлительность, не соответствовавшая быстроте и точности ее движений вообще, ее стремительной походке, мгновенности и безошибочности ее физических рефлексов. То впечатление странной дисгармонии, почти анатомической, которое я заметил в ней в вечер нашей первой встречи, именно сочетание высокого и очень чисто очерченного лба с этой жадной улыбкой,— не было случайным. В ней было несомненный разлад между тем, как существовало ее тело, и тем, как вслед за этим упругим существованием медленно и отставая шла ее душевная жизнь. Она никогда не делала ничего, чтобы произвести то или иное впечатление; она никогда не думала, как подействуют слова, которые она говорит. Она существовала сама по себе, ее чувства к другим были продиктованы или физическим тяготением, столь же несомненным, как желание спать или есть, или каким-то душевным движением — похожим на душевные движения большинства людей — с той разницей, что ни в каком случае она не поступала иначе, чем ей хотелось. Желания других играли для нее роль только тогда или только до тех пор, пока совпадали с ее собственными желаниями.

Такова была ее природа — и изменить это, я думаю, было чрезвычайно трудно. И все-таки, по мере того, как проходило время, я начал замечать в ней некоторые проявления человеческой теплоты, она как будто поемному оттаивала. Я подолгу расспрашивал ее обо всем, она отвечала мне сравнительно редко и сравнительно немногословно. Она рассказала мне, что выросла в Сибири, в глухой провинции, где прожила до пятнадцати лет. Первый город, который она увидела, был Мурманск. У нее не было ни братьев, ни сестер, ее родители погибли в море: во время путешествия из России в Швецию их пароход взорвался на плавающей мине. Ей было тогда семнадцать лет, она жила в Мурманске. Вскоре после этого она вышла замуж за американского инженера, того самого, о скоростной смерти которого она получила телеграмму в Лондоне год тому назад. Она объяснила

мне, что он понравился ей тогда потому, что у него была седая прядь волос, и еще оттого, что он был хорошим лыжником и конькобежцем и очень интересно рассказывал об Америке. Вместе с ним она уехала из России; это было приблизительно в то время, когда, на другом конце этой огромной страны, в томительном безумии гражданской войны, я блуждал по раскаленным южным степям с выжженной травой, под высоко стоявшим солнцем. Она рассказывала о кругосветном плавании, о том, как трансатлантический пароход, на котором она ехала, проходил ночью Босфор, потом Мраморное и Эгейское моря, как было жарко и как она танцевала фокстрот. Я вспомнил эти ночи и их особенный темный зной и то, как я сидел часами на высоком берегу Дарданельского пролива и смотрел из душной тьмы на эти огни огромных пароходов, проходивших так близко от меня, что я слышал музыку их оркестров и следил за медленно удалявшимися рядами освещенных иллюминаторов, которые, по мере того как пароход уходил, сливались в одно, сначала сверкающее, потом тускнеющее и, наконец, туманное световое пятно. Я думаю, что, может быть, я видел и ее пароход и следил за ним с тем же жадным и слепым напряжением, в котором я находился первые годы моего пребывания за границей.

Она прожила много лет интересной жизни, полной неожиданных событий, путешествий, встреч, нескольких «неизбежных», как она сказала, романов. Она была в Австрии, Швейцарии, Италии, Франции и Америке, в каждой из этих стран она провела довольно много времени. В Англию приехала впервые два с половиной года тому назад.

— После этого все было просто, — сказала она.

— Просто, это значит — Париж, rue Octave Feuillet, матч Джонсон — Дюбуа и так далее? Между прочим, на что ты рассчитывала, не имея входного билета? На барышников?

— На барышников — или на случайность. Как видишь, я не ошиблась.

— Результаты матча превзошли твои ожидания?

— В некоторых отношениях — да.

Чем больше я ее узнавала, тем больше я привыкал к неестественному разделению между душевной и физической жизнью, которое было для нее так характерно. Вероятно, это разделение существовало в ней всегда, но теперь в нем было нечто почти болезненное, и мне неоднократно приходила в голову мысль, что данному периоду ее существования должно было предшествовать какое-то потрясение, о котором я ничего не знал и о котором она, в свою очередь, избегала упоминать. Жизнь с ней заключала в себе два резко различных романа: чувственное сближение, в котором все было вообще естественно, и душевная близость, бесконечно более трудная, более медленная и которой могло совсем не быть. Первоначальное суждение о том, что происходит — у всякого человека, который стал бы ее любовником, — неизбежно должно быть ошибочным; эти ошибки были бы тем более несомненны, что они были бы совершенно естественны. Я неоднократно представлял себе их последовательность. Первая состояла бы в представлении, что то или иное развитие событий зависит от этого человека. На самом деле выбор всегда исходил от нее, и не только выбор, но даже то, трудноуловимое первое движение, которое определяет начало романа и в котором нередко заклю-

чено все, что произойдет в дальнейшем. Но эта ее особенность, конечно, не являлась чем-то исключительным — в очень многих случаях, как я это всегда знал, и завязка и развязка романа зависела именно от женщины. Вторая ошибка состояла бы в том, что это можно было бы считать чем-то окончательным. В действительности это не значило ничего или почти ничего и могло прекратиться в любую минуту, без всякого объяснения и без какой бы то ни было возможности возобновления. И третья, самая главная, — это, что только через много времени и только в случае редкого и счастливого совпадения начинался наконец настоящий роман, который — если бы судить по внешним признакам — давно уже был свершившимся фактом.

В этот период времени мне удалось, наконец, избавиться от случайной и неинтересной работы, и я получил заказ на серию статей о литературе. Елена Николаевна пришла ко мне однажды днем, — это был ее первый визит, — без предупреждения — и я очень удивился, отворив дверь.

— Здравствуй, — сказала она, осматривая комнату, в которой я работал, — я хотела застать тебя врасплох...

Она стояла у полок с книгами, быстро вынимала том за томом и ставила их на место. Потом она вдруг посмотрела на меня остановившимися глазами с таким оттенком выражения, которого я в них никогда еще не видал.

— Что с тобой?

— Ничего, меня просто заинтересовала одна книга. Я все хотела ее прочесть и нигде не могла найти. «Золотой осел», — быстро сказала она. — Можно его взять почитать?

Меня удивило, что эта книга могла произвестись на нее такое впечатление.

— Конечно, — сказал я, — но в ней нет ничего замечательного.

— Мне ее подарил мой муж во время свадебного путешествия, я начала ее читать и уронила в море. Потом я ее всюду спрашивала, но ее не было. Правда, то был английский перевод, а это русский. Что ты пишешь сейчас?

Я показал ей свою работу, она спросила, может ли она мне помочь.

— Да, конечно, но я боюсь, что тебе будет скучно рыться в книгах и выписывать цитаты.

— Нет, наоборот, это меня интересует.

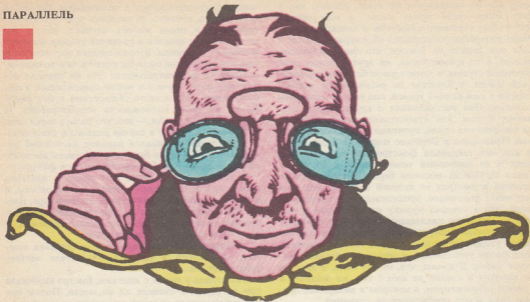
Она так настаивала, что я согласился. Ее работа заключалась в переписывании и переводе подчеркнутых мной цитат, которые входили в статью, как иллюстрации того или другого литературного положения, которое я развивал. Она это делала так быстро и с такой легкостью, точно занималась этим всю жизнь. Кроме того, она обнаружила познания, которых я в ней не подозревал; она была особенно сильна в английской литературе.

— Откуда это у тебя? — спросил я. — Все путешествия и романы, как ты говоришь, — когда же ты успела все это прочесть?

— Если тебе не помешали статьи о политических мерзавцах или о людях, которые бьют друг друга по физиономии, или о разрезанных на куски женщинах, то почему мне могли помешать мои романы?

И она смотрела на меня насмешливыми глазами, подняв голову от книги, которую держала.

Окончание следует



Аркадий Аверченко Косьма Медичис

Бродя по Большой Морской, остановился я у витрины маленького «художественно-комиссионного» магазина и, взглядевшись в выставленные на витрине вещи, сразу же обнаружил в этих ищущих своего покупателя сокровищах разительное сходство с сокровищами в знаменитой гостиной Плюшкина.

Я даже не погрешу против правды, если просто выпишу это место из «Мертвых душ».

«...Стоял сломанный стул и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же лежала куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха (тут, на витрине, было полдюжины таких лимонов в банке из-под варенья), отломленная ручка кресел, кусочек сургуча, кусочек тряпки, два пера, запачканные чернилами, зубочистка совершенно пожелтевшая, — а из всей этой кучи заметно высовывался отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога».

Это, если вы помните, было

у Плюшкина. Буквально то же самое красовалось на витрине, но с прибавкой небольшого, крайне яркого плаката, стоявшего на самом выгодном месте, посередине... Плакатик изображал разноцветного господина, держащего в одной руке сверкающую резиновую калошу, а пальцем другой указывающего на клеймо фирмы на подошве: «Проводник».

Меня очень рассмешила эта ироническая улыбка нашего быта: резиновых калош нельзя достать ни за какие деньги, а хозяин магазина упорно продолжает их рекламировать.

Так как хозяин стоял тут же, у дверей своей сокровищницы, я спросил его:

— Зачем вы рекламируете калоши «Проводник»?

— Где? — удивился он. — Это? Помилуйте. Да это картина. Мы это продаем.

— Как продаете? Да кому ж это нужно...

— Покупают. Повесишь в комнате на стенке, очень даже украшает. Видите, какие краски!

В торговом азарте он снял с витрины господина, указующего перстом на сверкающую калошу, и преподнес это произведение к самому моему носу.

— Вот она, картинка-то. Купите, господин.

Я вспомнил свою петербургскую квартиру, украшенную Репиным, Добужинским, Би-

либиным, Ре-Ми, Александром Бенуа, — и рассмеялся.

— А в самом деле, не купить ли?

Раз наступает такая дикариная жизнь, что скоро будем ходить голыми, то для украшения наших вивгамов хорош будет и юркий господин, сующий под нос обязательно сверкающую калошу.

В этот момент к нам приблизился незнакомец в темно-зеленой пиджачке в обтяжку и соломенной шляпе-канотье...

Он на секунду застыл в немом восхищении перед господином с калошей, снял шляпу, самоуверенно обмахнулся ею и спросил:

— Что ж вы мне прошлый раз, когда я покупал картины, не показывали этой штуки! Занятно!

— Купите! Замечательная вещь, — захопотал хозяин, почувя настоящего покупателя. — Настоящая олеография! Это не то что масляные краски... Те — пожухнут и почернеют... А это — тряпкой с мылом мойте — сам черт не возьмет!

— Цена? — уронил покровитель искусства, прищурившись с видом покойного Третьякова, покупающего уники для своей галереи...

— Четыре тысячи.

— Oго! И трех предовольно будет. Достаточно, что вы прошлый раз содрали с меня за

женскую головку «Дюбек лимонный» — шесть тысяч.

— Та ж больше. И потом на картон наклеена — возмите это во внимание!

— Ну, заверните. А фигура нет?

— То есть скульптуры? Очень есть одна стоящая вещь: «Диана с луком».

— Садит, что ли?

— Чего?

— Лук-то.

— Никак нет. Стреляет. Замечательный предмет (хозяин сделал ударение на первом слове) — настоящий, неподдельный тип! Вещь — алебастровая!..

Когда менечат, закупив часть живописных и скульптурных сокровищ, довольный собой удался, я сделал серьезное лицо и спросил:

— Скажите, фамилия этого нового покровителя искусств — не Косьма Медичис?

— Никак нет, совсем напротив: Степан Картохин. Они тут у портного в мастерах служат и огромные деньги ниче выработывают: до восьмисот тысяч в месяц! Известно; девать некуда, вот они в валюту все переняют — вещи покупают. И опять же искусство любят.

И почувствовал я, что все мы, прежние, до ужаса устарели со всеми нашими Сомовыми, Добужинскими, Репиными, Обри, Бердслеями, Ропсами, Билибиными и Александрями Бенау.

Шире дорога! Новый Любим Торцов идет!

Бумажки бьют из его карманов двумя фонтанами, и в одной руке у него сверкает всеми цветами радуги «Дюбек лимонный», в другой — «Покупайте калоши «Проводник»!»

Ars, longa, vita brevis! *



* Искусство долговечно, жизнь коротка (лат.).

Корибу

В мой редакторский кабинет вошел, озирающийся, бледный молодой человек. Он остановился у дверей и, дрожа всем телом, стал всматриваться в меня.

— Вы редактор?

— Редактор.

— Ей-Богу?

— Честное слово!

Он замолчал, пугливо пошатываясь в меня.

— Что вам угодно?

— Кроме шуток — вы редактор?

— Уверю вас! Вы хотели что-нибудь сообщить мне? Или принесли рукопись?

— Не губите меня,— сказал молодой человек.— Если вы солтнете — я пропаю!

Он порхнул в кармане, достал какую-то бумажку, бросил ее на мой стол и сделал быстрое движение к дверям с явной целью — бежать.

Я схватил его за руку, оттолкнул от дверей, оттащил к углу, повернул в двери ключ и сурово сказал:

— Э нет, голубчик! Не уйдешь... Мало ли какую бумажку мог ты бросить на мой стол!..

Молодой человек упал на диван и залился горячими слезами.

Я развернул брошенную на стол бумажку.

Вот какое странное произведение было на ней написано.

«Африканские неурядицы

Указаны благомыслящих людей на то, что на западном берегу Конго не все спокойно и что туземные князьки позволяют себе злоупотребления властью и насилие над своими подданными — все это имеет под собой реальную почву. Недавно в округе Дилибом (селение Хухры-Мухры) имел место следующий случай, показывающий, как далеки опаленные солнцем сыновья далекого Конго от понятий европейской закономерности и порядка...

Вождь племени бери-бери Корибу, заседавший в совете государственных деятелей, получил известие, что его приближенный воин Музаки не был допущен в корраль, где веселились подданные Корибу. Не разобрав дела, князек Корибу разлетелся в корраль, разнес всех присутствующих в коррале, а корраль закрыл, заклеив его двери липким соком алоэ. После оказа-

лось, что виноват был его приближенный воин, но, в сущности, дело не в этом! А дело в том, что до каких же пор несчастные, сожженные солнцем туземцы будут терпеть безграничное самовластие и безудержную вакханалию произвола какого-то князька Корибу! Вот на что следовало бы обратить Норвегии серьезное внимание!»

Прочтя эту заметку, я пожал плечами и строго обратился к обессиленному от слез молодому человеку, который все еще лежал на моем диване:

— Вы хотите, чтобы мы это напечатали?

— Да... — робко кивнул он головой.

— Никогда мы не напечатаем подобного вздора! Кому из читателей нашего журнала интересны какие-то обитатели Конго, корралы, сок алоэ и князьки Корибу. Подумаешь, как это важно для нас, русских!

Он встал с дивана, взял меня за руки, приблизил свое лицо к моему и пронзительным шепотом сказал:

— Так я вам признаюсь! Это написано об одесском Толмачеве и о закрытии им благотворного собрания.

— Какой вздор и какая нелепость,— возмутился я.— К чему вы тогда ломались, переносили дело в какое-то Конго, мазали двери глупейшим соком алоэ, когда так было просто — описать одесский случай и прямо рассказать о пленении Толмачева! И потом вы тут нагородили того, чего и не было... Откуда вы взяли, что Толмачев был в каком-то «совете государственных деятелей»? Просто он приехал в три часа ночи из кафеантана и закрыл благотворное собрание, продержав под арестом полковника, которого по закону арестовывать не имел права. При чем здесь «совет государственных деятелей»?

— Я думал, так безопаснее...

— А что такое за дикая, дурного тона выдумка: заклеил двери липким соком алоэ? Почему не просто — наложил печати?

— А вдруг бы догадались, что это о Толмачеве? — прищурился молодой человек.

— Вы меня извините,— сказал я.— Но тут у вас есть еще одно место — самое чудовищное по ненужности и вздорности...

Вот это: «Следовало бы Норвегии обратить на это серьезное внимание». Положа руку на сердце: при чем тут Норвегия?

Молодой человек положил руку на сердце и простодушно сказал:

— А вдруг бы все-таки догадались, что это о Толмачеве? Влетело бы тогда нам по первое число. А так — ну-ка — пусть догадываются! Ха-ха!

На мои глаза навернулись слезы.

— Бедные мы с вами... — прошептал я и заплакал, нежно обняв хитрого молодого че-

ловека. И он обнял меня.

И так долго мы с ним плакали.

И вошли наши сотрудники и, узнав в чем дело, сказали:

— Бедный редактор! Бедный автор! Бедные мы!

И тоже плакали над своей горькой участью.

И артельщик пришел, и касир, и мальчик, обязанности которого заключались в заливывании конвертов для заклейки — и даже этот мальчик не мог вынести вида нашей обнявшейся группы и, открыв сплывший рот, раздиратно заплакал...

И так плакали мы все.

Эй, депутаты, чтоб вас!.. Да когда же вы сжалитесь над нами? Над теми, которые плачут...



В 1991 ГОДУ читайте на страницах «Ст. М.»:

Сергея Аверинцева, Виктора Астафьева, Василия Белова, Анатолия Кима, Николая Коняева, Юрия Кузнецова, Алексея Лосева (из лит. наследия), Валентина Пискуля, Валентина Распутина, Владимира Солоухина.

Кроме того, мы продолжим ваше знакомство с творчеством русского зарубежья. С нами сотрудничает прозаик, главный редактор журнала «Континент» (Париж) *Владимир Максимов*. Его роман «Прощание из ниоткуда» будет представлен на страницах «Ст. М.».

Как и в прежние годы, любителей детектива и фантастики ждут встречи с *Агапой Кристи, Жоржем Сименоном, Станиславом Лемом* и другими классиками этого жанра.

Ури Геллер — телепат, экстрасенс, лозоискатель из Лондона — поделится с вами ВСЕМИ своими секретами. Его согласие получено.

Мак-Иов Риго продолжит курс «Болиит? — Помоги себе сам» (инфаркт и сердечные проблемы, студенческий гастрит, зрение, диагностируем себя сами, половые проблемы).

В рамках серии «Интеллектуальные биографии» продолжится ваше знакомство с философской мыслью Запада (*Ф. Ницше, А. Шопенгауэр, Б. Рассел*) и России. Мы предоставим вам возможность самим судить о сборнике «Вехи» (1909), напечатав его без изъятий, который В. И. Ленин назвал «энциклопедией либерального ренегатства». А между тем со статьями о русской интеллигенции выступали в «Вехах» *Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Струве, С. Франк, М. Гершензон*... Ныне признанные классиками отечественной мысли.

Игорь Акимов, Виктор Клименко продолжат цикл о таланте — «О мальчике, который умел летать...».

В «Спортподвале» «Ст. М.» вами займется «Геркулес» — тренажерная фирма, с которой сотрудничают лучшие советские культуристы.

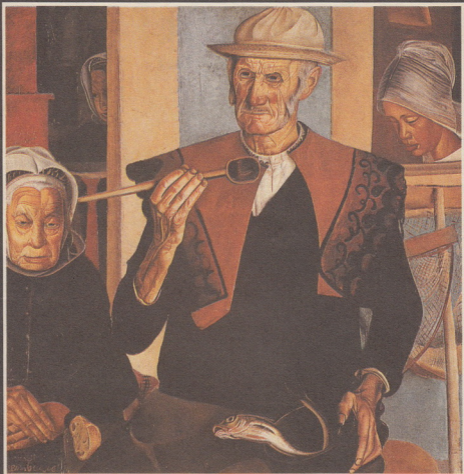
Любителей рок-музыки ждет сериал «История рока».

Рубрика «Азбука для двоих» познакомит вас с историей эротического искусства.

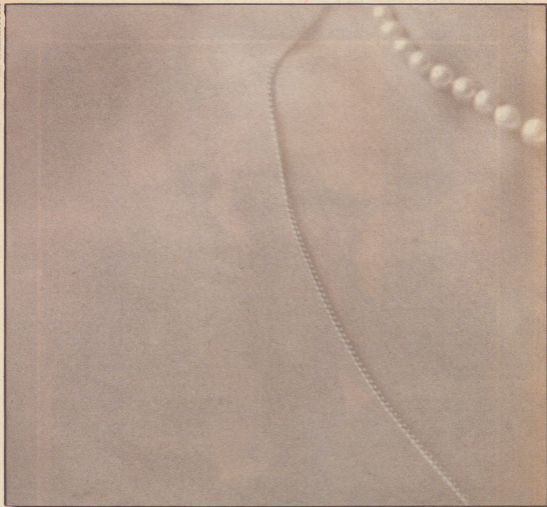
И, естественно, будет продолжен цикл «*Владимир Высоцкий: эпизоды творческой судьбы*».

А также для вас будут подготовлены материалы о восточной мистике, о звездах западного искусства, антология уфологии (НЛО), о культуре тела и духа (на примере Индии, Японии, Китая).

Следите за рекламными колонками на страницах журнала, и у вас сложится более четкое представление о том, что ждет вас в следующем году.



Борис Григорьев. «Чудо супа», 1920 г.
12 000—15 000 английских фунтов стерлингов



ИМЯ В ФОТОГРАФИИ



*Рубрику ведет Александр
Слюсарев*

В рубрике мы представляем сегодня Георгия Пинхасова. Его ранние работы относятся к периоду творчества (конец семидесятых — начало восьмидесятых), который можно назвать неангажированным. Иными словами, человек делает то, что ему хочется, не будучи связанным

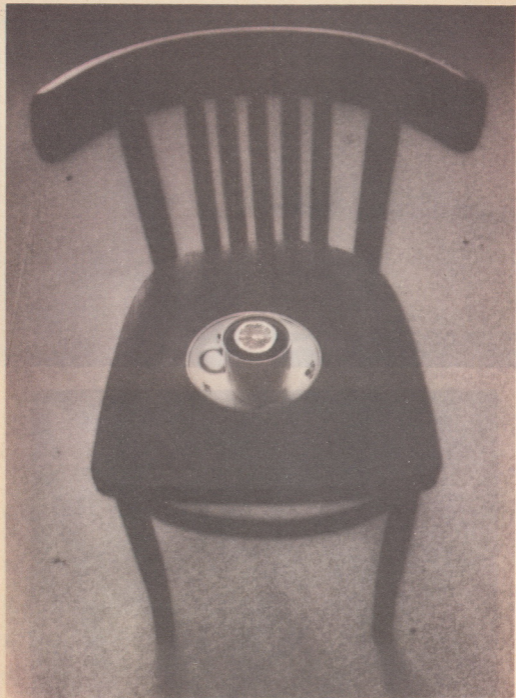
условиями заказчика. Подобный период всегда важен для любого автора, ибо, давая право на ошибку, позволяет пробовать себя в разных областях. Впрочем, профессиональная работа не позволяет ошибаться слишком часто, а творчество как раз и подразумевает эксперимент, поиск.

Гарик пробовал себя в самых разных жанрах фотографии. Практически во всех. В свое время журнал «Советское фото» опубликовал его пейзажи — отточенные по форме, нестандартные по фактуре. А до этого была публикация в чехословацком «Ревю-фотография», посвященная в основном предметному миру. Снимал он и портрет и жанр. Для меня наименее убедительными всегда

казались его жанровые снимки. В них чувствовалось преобладание формы, а острый «озабоченный» взгляд ему не особенно свойствен, он скорее аналитик.

В этом отношении жесткие репортажные работы Владимира Зотова из Казани или Владимира Воробьева из Новокузнецка тогда, в начале восьмидесятых, выглядели более актуальными.

Но — парадокс судьбы — Гарик женился и уехал с женой в Париж, и вот теперь он в «Магнуме». Может быть, самым престижным агентстве фотографии, которое специализируется именно на актуальном фоторепортаже. Снимал в Армении после землетрясения, в Индонезии. Спрос за рубежом на актуальные события всегда

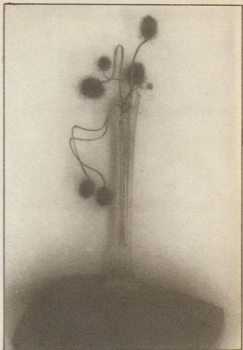
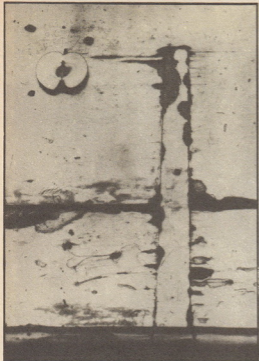


высок, и все зависит от твоей работоспособности и творческих возможностей.

Наверное, мечтой любого фотографа может быть знакомство с Анри Картье-Брессоном,

Йозефом Куделкой, Себастьяно Сальгадо, а тем более работа с ними в одном агентстве. И эта мечта у Гарика реализовалась, но теперь надо «быть на уровне». Какую цель мы ставим,

то и получается. Жаль только, что мы ограничены в возможности увидеть результат. Но будем надеяться на лучшее и на дальнейшее знакомство с его новыми работами.



«Наша вера вечно новая и живая»

Владимир Толстой

Три могучих культуры, составлявших силу и гордость ушедшей России, — крестьянская, религиозная и дворянская, с особой ненавистью и фанатичной последовательностью уничтожавшиеся новой властью, поклявшейся разрушить старый мир до основания, — истертанные, растоптанные, многократно униженные, доведенные до предела отчаяния, до самого края гибели, все же истинным чудом, провиденьем Божиим уцелели крохотными островками и здесь, и там — на Родине и в эмиграции.

Поклонимся благодарно Вене, Парижу и Берлину, Риму и Праге, Нью-Йорку и Белграду, десяткам других городов, давших приют и кров отечественной культуре, уберегших, а затем полно и обстоятельно издавших все ее крупнейшие творения, которые теперь мы постепенно начинаем возвращать нашему обокраденному на десятилетия народу.

Огромная важность и значимость целостного творческого наследия лучших сынов России безусловна и неоспорима. Это, кажется, признано теперь всем нашим обществом. Но не менее существенная часть утерянной культуры — и это пока еще не так ясно осознано — сам дух народный во всех его ипостасях: и в святости простых православных священников, и в достоинстве среднего офицера, и в высоком смысле слова аристократизме и просвещенности российского дворянства, и в неиспорченности хозяйской природы настоящего крестьянина, сумевшего трудом своим и верой выстоять и не сломаться.

Все это, пусть пригашенно, невяно и неброско, но сохранилось-таки опять же и здесь и там. И все это в той или иной степени в лучших своих образцах надлежит нам вернуть и

возвысить, если хотим мы подлинного Возрождения.

То, как, какой ценой удалось сберечь некоторое в своем Отечестве, постепенно узнается нами. Пришло время поразмыслить и над тем, как уцелело остальное за его пределами...

Одним из самых выдающихся примеров религиозной эмиграции, осуществленной, кстати сказать, за двадцать лет до так называемой первой русской эмиграции, был, безусловно, отъезд из России в самом конце XIX века семи с половиной тысяч духоборов, почти двести лет терпевших до этого у себя на Родине невыносимое гонения.

История духоборчества неотделима от истории русского сектантства в целом. Его корни уходят далеко в глубь времен. Как самостоятельное течение религиозной мысли духоборчество вынырнуло на поверхность общественной жизни в конце семнадцатого — начале восемнадцатого столетия, в пору самых тяжелых преследований за всякое разномыслие и ересь со стороны православного духовенства. Предания говорят, что до вступления на русский престол Александр I (который оказался самым веротерпимым и свободомыслящим из всех русских монархов и при котором гонения на духоборов значительно сократились) духоборцы постоянно подвергались тяжелейшим наказаниям и даже

пыткам. Многих засекали кнутом насмерть, сажали в каменные столбы, вырезали из спин ремни, вырывали языки, разрывали ноздри, ссылали на рудники, в Сибирь, на Камчатку. Секли публично даже малолетних детей за непокорность их родителей. Многих детей отнимали от родителей, насильно крестили в православной церкви и разлучали с близкими.

За что же так безжалостно и зверски преследовали духоборцев? Были ли они в самом деле государственными преступниками или разбойниками? Во все нет! В основе духоборчества — протест против насилия над человеком, признание равенства и братства всех людей. Духоборцы не признавали официальную церковь и ее представителей — духовенство, иконы и церковные обряды, потому что веровали в то, что Бог в самом человеке, находится в его душе и проявляется в любви ко всем людям.

Другая отличительная черта духоборцев — это их неразрывная связь со своими руководителями, духовными вождями. Высокий нравственный авторитет этих людей, влияние на умы и сердца духоборцев предопределяют их ведущую роль во всем духоборческом движении.

Первыми из известных официальных руководителей духоборцев были крестьянин Силуан Колесников и купец Илларион Побирохин. Но наибольшее развитие их духовное учение получило, как принято считать, при Савелии Капустине, которого нередко называли духоборческим Моисеем. Ему впервые удалось объединить духоборцев трех губерний, добиться их освобождения от всех повинностей, из ссылок, тюрем и каторг и получить разрешение на переселение в так называемые «Молочные воды» Таврической губернии. Редкая по красоте местность, плодородная почва и умеренный климат способствовали быстрому расцвету духоборческих поселений.

Савелий Капустин энергично принялся за устройство жизни на новом месте. Он ввел в духоборческих поселениях общинный образ жизни: хлебопашество производилось сообща, все имущество распределялось между членами общины поровну. Ну и наконец, Капустин

был основателем знаменитого Сиротского дома — своего рода вспомогательного фонда, общественного склада, состоящего как из наличного капитала, так и из разного хозяйственного инвентаря и прочего имущества. Кроме того, Сиротский дом выполнял функцию общественного опекуна немощных одиноких стариков, вдов, осиротевших детей, не имеющих своего угла и не способных самостоятельно обеспечить свое существование.

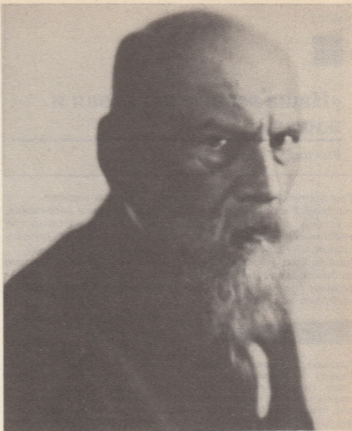
По донесениям местных властей того времени, узнаем, что уездное начальство очень положительно отзывалось о деятельности и образе жизни духовоборческой общины. Постоянно отмечались их неутомимость в работе, усердие в ведении сельского хозяйства, высокие нравственные устои.

Все это, а в особенности зажиточность духовоборцев, вызвало зависть и раздражение со стороны православного духовенства, которое с 1816 года вновь начало преследовать духовоборцев, обвинять их в укрывательстве преступников и злодеев, в распространении ереси и в пропаганде сектантства.

Новые испытания выпали на их долю после кончины Александра I и воцарения Николая I. В конце концов в 1839 году был издан указ, повелевавший «всех принадлежащих к пагубной секте духовоборцев переселить в Закавказские провинции». Остаться в Таврии разрешалось только тем, кто, отказавшись от ереси, возвращался в православие.

Пришлось общине осваивать новые земли, на этот раз, увы, очень мало приспособленные для жизни и ведения сельского хозяйства. Местом поселения стали так называемые Мокрые горы, находящиеся у самой границы с Турцией, высокогорное плато, каменистое, большей частью заснеженное, с суровым климатом — долгими зимами и лютыми морозами. Но мало-помалу начали духовоборцы приспособляться к жизни в этих условиях, обживать и на удивление быстро богатеть...

Преодоление трудностей вызвало новый духовный подъем в общине — духовоборцы вели праведный, трезвый и вегетарианский образ жизни. Отвергали торговлю, считая это занятие



Илья Львович Толстой.
Фото из семейного архива

недостойным христианина. Одежду, обувь, все необходимое производили сами, роскошь в общине не одобрялась, ценились, напротив, простота и сдержанность. Патриархальность социальных установлений позволяла все споры и недоразумения разрешать мнением старцев, или, как их чаще называли, старичков, пользовавшихся особым почетом и уважением. Отношения духовоборцев между собой отличались добросердечием, гостеприимством и взаимопомощью и основывались на полном доверии. Почитались ранние браки, а дети считались Божьей благодатью. С посторонними людьми в брак духовоборцы не вступали.

С новой силой еще более ожесточенно, чем во все предыдущие годы, духовоборцы стали преследоваться после того, как их духовным руководителем стал Петр Васильевич Веригин.

Именно он подготовил духовоборцев к главному шагу гражданского неповиновения — отказу от воинской повинности и службы в армии и полиции. И вот в день великой Пасхи 1895 года духовоборческая молодежь сложила оружие и заявила военному начальству: «С этого дня мы больше не служим вам, потому что по завету Христа мы не можем быть убийцами, а военная служба подготавливает нас убивать людей». Этот отказ вызвал ярость военачальников, последовали жесточайшие наказания.

Но духовоборцы не отступились. И в ночь на 29 июня 1895 года предприняли небывалый в истории человечества акт протеста против милитаризма — они собрали все свое оружие (ружья, пистолеты, кинжалы, шашки), сложили его в громадные костры и два дня сжигали и плавили под торжественное пение псалмов.

На усмирение бунта были посланы казаки. Духоборцы

были жестоко избиты нагайками, четверо убиты, свине двухсот арестованы и посажены в тюрьмы, имущество их было разграблено, земля отнята, и около 4000 человек были расселены по глухим армянским, грузинским и татарским селам. По свидетельству Александры Львовны Толстой, которое мы находим в ее книге воспоминаний «Отец», изданной в 1953 году в издательстве имени Чехова в Нью-Йорке, «Толстой был потрясен этими событиями. Только глубокая вера в Бога могла заставить людей с такой стойкостью и терпением вынести подобные страдания. В движении духоборцев Толстой видел начало возрождения истинного христианства в русском народе. С другой стороны, он был глубоко возмущен тем, что в конце XIX века, в так называемом цивилизованном мире производятся такие жестокости по отношению к людям, которые были виноваты только в том, что хотели исполнять заветы Христа и старались жить так, как повелевала им их совесть».

Конечно же, Лев Толстой, мировоззрением которого в этот период были, как никогда, близки основные идеи духоборческого движения, не мог не принять самого деятельного участия в дальнейшей судьбе этих людей, их неравной борьбе с государством.

Им были организованы и лично написаны десятки воззваний к общественности России, Европы и Америки, призывающих всех добрых христиан мира встать на защиту этих незаслуженно преследуемых и жестоко угнетаемых русских борцов за истинную веру и всеобщее братство. О преследовании духоборцев заговорили повсюду. В Англии и Америке ими заинтересовались квакеры, которые вскоре организовали специальный комитет помощи. Под таким давлением российское правительство вынуждено было наконец дать согласие на выселение духоборцев из России, с тем условием, что происходить оно будет за их счет и что они навсегда покидают пределы Российской империи.

Теперь необходимо было решать, в какую страну им переселиться и где раздобыть денег для переезда. Был органи-

зован сбор средств, но этого оказалось явно недостаточно, и тогда Толстому, незадолго до этого отказавшемуся от всех своих авторских прав на произведения, пришлось в виде исключения принять решение продать за большие деньги право первой публикации романа «Воскресенье» и вырученные за него 32 тысячи рублей передать на переселение духоборов.

Первый пароход, отплывший в Канаду, правительство которой дало согласие на размещение духоборческой общины на своей территории, сопровождал в качестве помощника и переводчика близкий друг Толстого Сулержицкий. Второй — старший сын писателя, Сергей Львович, а третий, отплывший в апреле 1898 года, — В. Бонч-Бруевич.

Не только Сергей Львович, но и другие старшие деды Толстого очень близко к сердцу приняли судьбу духоборцев. Татьяна Львовна еще в 1896 году писала в «Дневнике»: «Собираюсь поехать к духоборам, у которых ужасные бедствия. Чувствую эту своей обязанностью, но чувствую и стыд, и свою недостойность помогать другим...» — и впоследствии лично помогала русским сектантам добиться справедливости у самого Победоносцева. И Илья Львович (мой прадед), которого жизнь свела с духоборами и в более поздние годы, уже на чужбине, где он неоднократно встречался со многими из них, поддерживал регулярную переписку. Особенно интересны и содержательны его письма к Петру Николаевичу Малову — известному духоборческому общественному деятелю, автору наиболее полного исследования о своих единоверцах — книги «Духоборцы, их история, жизнь и борьба». Письма эти никогда не публиковались в Советском Союзе, и мне кажется, уместно привести здесь некоторые выдержки из них, дополняющие наши представления о жизни, образе мышления, религиозных и философских взглядах наших соотечественников, волею случая и судьбой оказавшихся за пределами столь горячей любимой ими России.

Соутбери, Коннектикут.

Мая 6, 1924 года.

Многоуважаемый г-н Малов!
Очень рад был получить от вас письмо. Я действительно

вог уже седьмой год как живу в Америке и кормлюсь лекциями о России, об учении моего отца. Я очень слежу, хотя издали, за жизнью и деятельностью духоборов, многое о вашей жизни слышал и, конечно, сочувствую основному учению вашему всей душой. Дай вам Бог продолжать и не сбиваться с прямого пути...

В Россию я духоборцам не советуюсь бы теперь ехать, ибо или они должны будут отказаться там от многих своих идей, либо они будут проработаны и преследуемы хуже еще, чем под старым правительством. Для этого нужно еще подождать, и быть может, несколько лет. Мне самому хотелось бы на родину, да боюсь, что будет один грех...

Ваш Илья Толстой.

Гренич, Коннектикут.

Октябрь 31, 1924 года.

Дорогой брат!

Я очень рад Вашему письму и постараюсь, насколько умею, ответить на ваши вопросы. Буду писать, как я лично думаю и верю, и вперед оговариваюсь, что вера каждого человека есть дело личное и никому навязываема быть не может. У каждого человека нравственные силы ограничены, и у каждого из нас своя совесть. Помогать друг другу мы можем и должны, как делом, так и советом, но требовать или руководить волею другого человека никто не должен...

...Уважая свою личность и свою совесть, человек тем более должен уважать личность и совесть другого. Отсюда закон любви и отрицания насилия. «Не противься злу злом», не наслыдай, ибо всякое насилие есть палка о двух концах и может привести ко вреду, вместе с тем как любовь никогда вреда не причинит. Глубина этого учения заключается в том, что блага любви неотъемлемы, ибо они принадлежат личности. Кроме того, любовь и практична. Она приводит к наибольшему счастью для наибольшего количества людей. Но не забывайте, дорогой брат, что блага эти только личные. Никто вам их дать не может, так же как никто не может и отнять их.

Я очень понимаю ваше желание жить по природе. Это нормальная жизнь, и в ней,

конечно, меньше соблазнов и греха.

Теперь о толстовцах...

...Мой отец при жизни часто говорил мне: «Больше всего боюсь «толстовцев». Этим он хотел сказать, что он боится, чтобы живое его учение не обратилось в замкнутое сектанство. Мысль должна жить и развиваться, а не застаиваться. Стоячая вода гниет. То же и с мыслью, если ее заключить и не дать движения.

Поэтому совет мой вам не принимать никакой религии как секты. Всякую мысль проверять своим умом и своей совестью. Ищите помощь и совета в существующих религиях, но вырабатывайте свою. Да будет ваша вера — верой Петра Малова и да будет она обязательной только для Малова.

Шлю вам свои лучшие сердечные пожелания и любовь.

Ваш Илья Толстой.

Февраля 20, 1925 года.

Дорогой брат Петр.

...Духоборчество должно быть на высоте религии и не опускаться до уровня узкой секты. Не знаю, поймете ли вы меня. Религия объединяет всех людей — секта отделяет одну ячейку от другой и поэтому опасна. Религия — это океан, секта — это лужа. Океан всегда чист, лужа должна загнивать и высохнуть.

Духоборческие основы религии настолько широки, что они обнимают все вопросы жизни, и задача теперешних духоборов — это остаться широкими и распространяться, а не сжиматься в ограниченные группы...
Илья Толстой.

Января 6, 1926 года.

Флорида.

Дорогой брат Петр!

Не писал тебе давно, потому что был занят земными заботами. Приходится добывать на жизнь, и это мне не всегда легко. Сейчас я нахожусь во Флориде, на юге. Здесь растут пальмы, апельсины, тепло, и толпы американцев наезжают сюда, кто проводить зиму в роскоши и тепле, а кто наживать деньги. Здесь вот уже три года как идет страшная земельная горячка. Цена земли поднимается со страшной быстротой, и люди, спекулирующие на земле, наживают огромные деньги. Конечно, все это противно и безнравственно. Конечно, ты прав, говоря,

что американская культура нам чужда. Она не в состоянии понять той высокой нравственной культуры, которая была украшением старой России. Они знают бизнес, знают технику, но поклоняются они золотому тельцу, и пока это так, они Бога не найдут.

Я вижу русскую культуру не только в произведениях наших поэтов и писателей. Я вижу ее еще больше в душе каждого неиспорченного русского крестьянина. Нравственные устои русского человека построены на любви к Богу, на исполнении Божьей воли, на жизни по-Божьи. Русский человек бывает дик, иногда даже жесток, но в нем всегда можно найти и пробудить искру Божью, и за это я русского человека люблю. Большевик вещь тяжелая. Это болезнь, которую принесла нам война, но и это пройдет, и Россия опять выправится на широкую дорогу.

Брат твой Илья Толстой.

Из писем этих чувствуется глубокая тревога Ильи Львовича Толстого за судьбу духоборов. Его очень волновало, сумеют ли эти мужественные люди вдаль от Родины сохранить свои нравственные устои, свою русскость.

Но как это ни поразительно, и тут я процитирую дважды за последние годы побывавшего у духоборов правнука Льва Николаевича и внука Ильи Львовича — И. В. Толстого: «Они вот уже четыре поколения сохраняют свой язык, свои обычаи, легенды и песни, свою одежду — мужики носят косоворотки, а женщины — вышитые платки. Даже названия деревень всегда даются свои, родные — Спасское, Троицкое, Терпение, Тамбовка или более поздние поэтические названия — Прекрасное, Плодородное, Луговая, Утешение, Бриллиант.

Хорошие у духоборцев семьи, многодетные. Добротно живут, несуетно. Физические крепкие эти русские люди, да и нравственным здоровьем их Бог не обделил. В подавляющем большинстве своем они не курят, не пьют спиртного, придерживаются безубойного питания, то есть не едят мяса, колбасы — ничего мясного. Они живут полноценной трудовой жизнью. Это вошло у них в привычку, перешло от отцов, дедов и прадедов. Ни

в одном из многочисленных домов, где мы бывали гостями, я не замечал ханжеского любования собой, своей праведностью. Они естественны во всем, правдивы, открыты и не склонны осуждать других за то, что те не придерживаются их обычаев».

Надо заметить, что духоборцы мало общались с местными жителями, сохраняя, насколько было возможно, изолированное положение от всего окружающего мира. С самого начала постарались они поставить свою жизнь на простых деревенских началах.

Одним из главных увлечений было и остается хоровое пение — пели почти везде и при каждом удобном случае: за трапезой в воскресные дни, в гостях, на работе в поле, во время отдыха и особенно по вечерам после всех трудов праведных.

Все это вместе не могло не оказать влияния на развитие их характера, интеллекта и психики. В общине было немало самобытных талантов и самородков, которыми во все времена был богат русский народ. Но и всякого рода чудиков, мистиков, доморощенных философов, отшельников и странников также обнаруживалось немало. Словом, весь народный уклад в миниатюре отразился в жизни духоборческой общины.

Так и не приняли они до сих пор канадского подданства, по-прежнему живут крошечным государством в государстве, тоскуя и мечтая о покинутой Родине, все чаще и чаще задумываясь о том, когда же наконец придет то долгожданное время и «Россия опять выправится на широкую дорогу», как предсказал Илья Львович Толстой. Вот тогда и можно будет вернуться в родные края, да и что там греха таить, не только самим вернуться, но во многом и вернуть России крепко позабытый исконный крестьянский религиозный быт, любовь к земле и к труду, братолюбие и взаимовыручку, подлинный общинный уклад жизни, чудом сохраненный, как огонек в негасимой лампаде, вынужденной и постылой эмиграцией.

Спасибо ей.

Областной Исполнительный Комитет Советов Урала.

ТЕЛЕГРАММА		ПЕРЕДАНА
3766	ЕКАТЕРИНА	№ 11
191 г. № 2020	ПОДАНА	Служб. адреса
В	17/10 21	116

Мит В.

МОСКВА Кремль Секретарь аппарата ГОРБУНОВУ

с просьбой провести

373436432293636492652728433306077263349341861564134014033

1146343481483942372847254323826003302341461156438433143211

3263619217831333518443427403433334102843294406284938330402

3734364322936364919

Белобородов



Неоднократно нам жизнь доказывала, что все тайное непременно станет явным.

Одной из сенсаций аукциона «Сотбис» можно назвать эту зашифрованную телеграмму от 17 июля 1918 года. Подписана она Белобородовым и адресована секретарю Совнаркома Горбунову, Москва, Кремль. В расшифрованном виде телеграмма содержит следующий текст: «Скажите Свердлову, всю семью постигла та же участь, что и ее главу. Официально семья погибнет в эвакуации» (из архива Соколова). Как говорится, комментарии излишни... Будем только надеяться на то, что все же у нас найдутся средства для возвращения столь неординарного документа на родину.



С писателем и философом Юрием Витальевичем Мамлеевым я познакомился в здании Московского университета. Мысль Мамлеева о том, что в поэзии Есенина, выходящей за рамки обычной концепции гениального, есть нечто экстремально существенное, и вызвала во мне невольное желание заглянуть в душу эмигранта. Тем более что о России он говорил громко и независимо в то время, когда о ней по известным теперь причинам говорят шепотом. Сегодня обращение к эмиграции стало модой. Насмотревшись «перестроечного» телевидения, даже дети мечтают об эмиграции. Ребята одной из московских школ так и сказали мне, что они эмигрируют, ибо у страны нет будущего. Она погружается во тьму. Я напомнил, что только крысы бегут с тонущего корабля. Россия не погибла, просто рушатся то «самодержавие» и та идеология, которые душили народ.

Встреча и беседа с Ю. В. Мамлеевым еще более убедили меня в этом.

ПЕРЕКРЕСТКИ СУДЬБЫ

«Если крикнет рать святая...»

— О себе. Я родился в Москве в 1931 году, 11 декабря, в семье профессора психологии Виталия Ивановича Мамлеева. Он был арестован и погиб в сталинских лагерях. В 1955 году я окончил Московский лесотехнический институт. Имея диплом инженера, работал преподавателем математики в школах рабочей молодежи и в техникуме. Реальный интерес был, однако, в сфере литературы.

Но я не публиковался в официальных советских изданиях. Почему? В моих вещах не было никакой политики. Существовали запреты на многие формы литературы, в частности, даже имя Есенина считалось полузапретным, тем более такое течение, как сюрреализм. «Столбцы» Заболоцкого было просто невозможно достать. Любые произведения, несущие какие-то элементы мистики или религиозности, тоже были под запретом. Запреты касались и формы, и содержания. Это длилось довольно долго. Но была

тем не менее насыщенная, богатая жизнь. Я писал для друзей, их у меня было очень много. Кроме того, занимался философией, посещал философский кружок...

— Душа рождается из чувства поэзии, без которого невозможно познание ни природы, ни родины...

— Еще в школе первым близким мне поэтом был Лермонтов. Но знакомство с Есениным явилось для меня неожиданным потрясением. Я приходил в институт и открывал его томик — это было на грани опасного поступка. Не рекомендовалось его читать и любить. Чем и как все это объяснить? Почему именно Есенин так глубоко задевал и задевает душу? Тогда просто не отдавал себе в этом отчета. По-настоящему об этом стал думать только в эмиграции.

— Русское национальное сознание испокон веков было поэтическим. Есенин — его полное олицетворение. С 1917 года это сознание пытались парализовать и пленить. И сегодня пытаются под видом плюрализма...

— Действительно, поэтическое сознание — свойство русского характера и русского мышления. Это необыкновенно важно понять и оценить. Сегодня поэзия фактически ушла из западной жизни. Крупнейшие поэты издаются тиражом не более 1000 экземпляров. В Америке поэзия вообще считается каким-то чудачеством, странным занятием.

— Неужели? А «пробы души» внушают нам нечто обратное.

— Если вы там скажете, что вы поэт, на вас будут смотреть как на сумасшедшего. Поэтическое мышление, поэтический образ жизни и поэзия как таковая просто ушли из западного мира.

— Но ведь это значит, что прошлое не может быть понято...

— Проблема действительно сложная: Запад сейчас переживает кардинальный поворот своей истории. Он становится уже пост-Западом, то есть он, видимо, навсегда растается со своей историей, своим прошлым.

— Если нас насильственно лишают своей истории, то там это происходит как бы естественно?

— Да, там это происходит «естественно». Запад абсолютно безрелигиозен и бездуховен...

— Простите, но ведь там есть католицизм, храмы.

— Да, но, например, в Париже вы заходите в огромные католические храмы, где идет месса, и на ней присутствует всего несколько человек. Настоящая вера если и сохраня-

ется на Западе, то скорее всего в провинции или в узких кругах. В Америке религия формально больше распространена, чем в Европе, где почти вся интеллигенция атеистична или агностична, особенно во Франции. В Америке церковь превратилась в некий клуб, куда приходят, беседуют, и больше ничего. Такое снижение уровня, что смешно здесь говорить о религии. Впрочем, все это предсказано в древних книгах.

— У Есенина есть строки:
*Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».*

Значит, эмиграция — это поиски рая?

— Эти строки Есенина я считаю одними из глубочайших. В нашей поэзии это удивительные стихи не только в чисто поэтическом плане, но и по своему философскому смыслу.

Но, конечно, наш «исход» для нас не был поисками рая. Говоря «для нас», я имею в виду ту часть эмиграции, с которой у меня есть внутреннее сходство. Мы уехали потому, что писатель должен видеть свои труды опубликованными! И потому, у меня не было чувства, что я навсегда расстаюсь с родиной.

За границей я оказался словно на Марсе. Эмиграция — это иная планета, иная жизнь, иные законы существования. Все другое. И тогда самое время было вернуться к Есенину — на внутреннем уровне.

— *Вы эмигрировали в США?*
— Я приехал с женой Марией в США. Полтора года жили в Нью-Йорке. За это время я сумел опубликовать некоторые свои вещи в лучших эмигрантских журналах, в частности в «Новом журнале», который редактировал Гул.

Один профессор-славист дал мне временную работу в Корнеллском университете (г. Итака). Я стал преподавателем русской литературы. Это тот университет, где работал Набоков и который он описал в романе «Пнин». Город в пять часов езды от Нью-Йорка. Маленький городок, тихий, спокойный. Там нет преступности, нет обычных нью-йоркских кошмаров. В США вышел мой сборник на английском языке

под названием «Небо над адом». В него вошли рассказы, роман. За эту книгу я был принят в американский Пен-клуб.

— *Вы писали прозу на английском?*

— Нет, даже мысли не было... Кстати, все вещи, которые вошли в тот сборник, были написаны до эмиграции. В любом значительном западном издательстве есть Русский отдел. Есть профессиональные переводчики, а также профессора, которые могут оценить произведение. Все это хорошо организовано.

Русская литература высоко оценивается в глазах западного мира. Она считается одной из величайших литератур мира: Достоевский, Толстой стоят в ряду шести-семи крупнейших мировых имен. Но сейчас проблема заключается в том, что настоящая проза тоже понемногу теряет своего читателя в западном мире. На первый план выступает коммерциализация искусства. Деньги заменяют и душу, и Бога, и дьявола, и саму жизнь. Печатаются прежде всего огромными тиражами детективы, полицейские романы, вообще то, что даже не считается литературой в университетах.

— *В Итаке вы прожили полтора года?*

— Нет, в Итаке мы прожили до 1983 года. Приехал в Америку я в 1975 году. За это время печатались мои произведения на английском и других языках. В 1983 году мы решили на вторую эмиграцию — покинуть США. Мы решили, что Франция психологически нам подходит больше, а в эмиграции психологический момент играет очень важную роль.

Что еще влекло нас во Францию? Конечно, русский Париж. В Париже, как вы знаете, живут потомки наших первых эмигрантов. Там похоронены Бунин, Мережковский, Зайцев.

— *То есть это было для вас фактически началом поиска России?*

— Да, но чисто географически. Внутренний поиск России начался еще в Америке. Америка — это мир, очень далекий от России, именно там у меня и, думаю, у некоторых других эмигрантов начался внутренний поиск России, поиск

духовной России, поиск и перечитывание русской литературы уже на другом уровне, с иной точки зрения. Мы пытались понять: почему существует такая необыкновенная привязанность русских к России, на чем она основана? Часть этого осмысления выражена в статье «В поисках России» («Л. г.», 1989, № 39). Кроме статьи «В поисках России», надеюсь, будет опубликована специальная моя статья о есенинской поэзии в альманахе «Преображение». В журнале «Советская литература» вышла моя фундаментальная работа «Философия русской патриотической лирики». Сейчас я хочу процитировать небольшой фрагмент о есенинской поэзии:

«В действительности Есенин был только на одном уровне деревенским поэтом. На более глубококом уровне он был все-русским национально-космическим поэтом, где национальное и космически-мировое были тождественны. Его образы деревни и русской природы отражают некое сокровенное состояние русской души. И разве сама русская природа не является очевидной манифестацией русской души, разве в самой русской природе не заложены каким-то образом качества русской души: широта, беспредельность, нежность и грусть? Поэтому деревенские образы Есенина имеют всемирно-русское значение. Деревня как социально-бытовой космос может исчезнуть в постиндустриальную эпоху, но воздействие есенинской деревенской символики не может исчезнуть, ибо она непосредственно связана с реалиями изначальных уровней русской души...»

Есенин выразил не только тысячелетнюю душу крестьянской России. Он выразил также изначальную сущность русской души в ее космическом смысле. Именно поэтому есенинская поэзия так воздействует на русских людей. Есенин сотворил чудо. Его поэзия является одним из чудес мирового искусства. Все символы есенинские: «сгибшие надежды», «нежная дрожь», «калитка осеннего сада», «тоскующая куры», «корова, теребящая соломенную грусть», «вазильковое слово» — выражают не только конкретную жизнь

русской деревни, но в то же время они символизируют какие-то состояния внутреннего русского бытия.

Помимо всего сказанного, есенинская поэзия указывает на определенную тайну России.

Хочу подчеркнуть, что это глубочайшее ощущение тайны России, тайны Русской земли существует не только в есенинской поэзии, оно идет, видимо, от Лермонтова — если говорить о литературе. Вспомните его стихотворение «Родина», где он говорит, что не понимает, почему он так сильно любит эту землю. А потом Тютчев, Волошин, Блок. Но у Есенина это выражено с такой необыкновенной всепоглощающей силой...

— *Сегодня все задают вопросы, как возродить красоту, как вернуть чувство смысла жизни. Об отношении к вере...*

— Я человек верующий.

Я абсолютно убежден: восстановление любви, нравственности в людях возможно главным образом через религиозное воспитание. Пытаться восстанавливать только одну нравственность бесполезно. Опыт показал, что это оборачивается полной неудачей. Если вы не даете людям понятие о Боге и бессмертии человеческой души, то всякое обращение к нравственности, к моральному началу как бы повисает в воздухе.

У молодежи разрушено ощущение смысла жизни, и ей остается жить только ради удовлетворения собственного эгоизма. Для русского человека это тяжелое состояние, мы народ крайностей, у нас нет золотой середины, мы и в добре и во зле доходим почти до предела. Мы во многом герои Достоевского. Мы не можем жить золотой серединой — без Бога, функционировать и просто жить ради процесса жизни, как многие в мире.

— *Бог может нас стабилизировать (по отношению к крайностям)?*

— Да, поэтому я думаю, что восстановить нормальное состояние можно только путем религиозного воспитания. Но наше время является парадоксальным. Во-первых, достаточно разрушены не только, скажем, православие и ислам, разрушено и то, что в науке называется

естественной религией. Когда возникли христианство и ислам, люди вокруг не были неверующими, они уже знали — хотя бы на первоначальном уровне — что такое Бог, что такое душа.

Надо начать с восстановления естественной религии, естественных религиозных понятий, а потом уже перейти к такой, например, более сложной и великой религии, как православие. Сначала надо дать людям понять, что такое Бог, дать понять, что мир не мог быть создан случайно, что даже чтобы создать спички, нужен разум. А чтобы создать мир, нужен высший разум. Такой необыкновенный мир не мог быть создан волей хаоса, в основе его лежит сверхразумное начало, которое мы называем Богом. Это знали все древние, и это свойственно всем религиям.

Второй пункт, также свойственный всем религиям, — это вера в бессмертие души. К доказательству этого можно привлечь даже новейшие исследования. У нас часто происходили случаи клинической смерти. Люди были на грани между жизнью и смертью и испытывали, как душа выходит из тела...

Третий пункт — нравственность, но нравственность через любовь к людям и к Богу. С этим связано понятие о смысле жизни. Если душа бессмертна, если есть разум в основе мира, значит, жизнь не бессмысленна. Потом на этой основе мы можем дать представление о православии, о таких сложных явлениях, как Боговоплощение (Иисус Христос как Бог, воплотившийся в человека, пришедший на Землю), понятие о Троице и о любви, христианской любви. Но без этой основы мы ничего не сможем сделать. Если это не придет к людям в детстве, через семью...

— *Юрий Витальевич, после стольких бедствий не грозит ли нам на пути к возрождению новая крайность — слепое замыкание на вере?..*

— Кроме религиозного воспитания, нам надо изменить основы гуманитарного воспитания. Например, русская литература преподается погубительно. Необходимо начать с переподготовки учителей, чтобы они нашли ключ к душам и препода-

вание литературы не было формальным. Поэзия дает людям выход из тюрьмы обиденной жизни, эгоизма и дает выход в глубочайшие духовные реальности. Неважно, сколько поэтов и писателей знает человек, важно, чтобы это было частью его жизни.

Цель литературы — преобразование людей. Пусть даже многие страницы нашей литературы говорят о зле человека, как страницы из Достоевского, Гоголя, это не страшно, потому что познание зла в человеке — конечно, сложный момент, но это необходимо, потому что зло существует в мире.

Зло — реальность. Литература — вид познания.

Познавая зло, человек одновременно от отрицания идет к добру. По Данте — от ада к раю.

И надо понять: литература должна стать частью жизни. С этим связан и такой важный момент, как патриотизм. Патриотизм тоже может быть казенным, официальным, и тогда он может вызывать у людей негативизм. Но в основе патриотизма любовь к родине — качество, глубоко присущее русским людям. Это чувство изначально есть в русском человеке, но формальное воспитание в гуманитарной сфере, которое дается у нас, и грубо пропагандистское использование патриотизма может только погубить его. Причем под патриотизмом надо понимать только любовь к родине — не шовинизм, не отрицание других народов...

Вы знаете, что Русь стояла на трех основах: Бог, царь и Отечество. Плохо это или хорошо, но благодаря этому мы выжили. Царь — это уже историческое прошлое. Что же касается Бога и Отечества — это, по-моему, должно быть восстановлено во всем глубинном смысле этих слов.

— *Ваша самооценка. Как вы объясняете то, что между вашим творчеством и вашими мыслями существует некоторое противоречие. Если в своей внутренней философии вы традиционны, то о творчестве этого не скажешь.*

— Мое художественное творчество действительно отличается от моих философских работ. Писатель как бы не-

волен в своем творчестве, он подчиняется определенной видению. Я начал писать только потому, что вдруг каким-то особым образом увидел мир и людей. Мое творчество, особенно доэмигрантское, было связано на первый взгляд с изображением зла.

Но самое главное — я описывал в своих вещах не зло, а совершенно другую сферу, сферу метафизически неразрешимого. Мои герои задают себе такие вопросы, на которые, может быть, человеческий разум почти бессильно ответить. Они пытаются разгадать такие загадки мира, Бога, бытия человеческого, которые, может быть, неразрешимы, то есть мои герои входят как бы в запрещенное пространство, и от этого они становятся похожими на монстров, они одеваются в оболочку зла, хотя на самом деле проблема в моих рассказах — не проблема зла, как у Достоевского, а проблема запрещенной зоны метафизически неразрешимого. Мои герои ставят такие цели, которые они, а может быть, человек вообще, не могут разрешить, и поэтому они становятся «безумцами». Они ставят эти цели не из любопытства, а какая-то сила ведет их к этому.

Уже в эмиграции у меня открылись другие линии творчества: народно-фольклорная и реалистическая (доэмигрантские произведения по форме были близки к сюрреализму). Итак, одновременно со старой линией творчества в эмиграции стали развиваться совершенно другие.

В области философии темы моих работ: восточная метафизика (особенно в ее индуистском аспекте) и Россия.

Надеюсь, скоро советский читатель познакомится с моими книгами, например, со сборником рассказов «Голос из ничто» и романом «Московский гамбит».

Беседу вел Григорий Калужный

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ностальгия по эмиграции

Не каждому выпадает такая судьба, но опыт эмиграции и ностальгия должен быть нами осмыслен.

Человек равен своей родине, он не меньше ее. («Мы разнесли Россию по всему миру».) Не существует конфликта между нами и родиной. Есть только конфликт между человеком и обществом. Эмиграция — это изгнание. И путь «туда» никому из нас не заказан. Но это не все.

Ностальгия обоюдна. Ибо родина для меня — пейзаж во-вторых. А от начала до конца — родная человеческая душа. Что я без русской литературы?

Мы тоже не знаем всей своей родины — перед детьми эмигрантов мы равны.

Ностальгия по эмиграции — восстановление справедливости.

Мы жили среди зеркал, мы не знали, что есть зазеркалье.

Я навсегда запомню, как они возвращаются к нам — живые.

Но больше — портреты, портреты...

Ольга Миткина

Эмигрировать в себя

Для нас, очередного поколения двадцатилетних, слава богу, нет оппозиции «можно — нельзя». Вопрос иной — справимся ли, хватит ли сил и профессионализма, чтобы воспринять культуру, рожденную по законам Вечности.

Мы, жертвы классовой ненависти, «социальной справедливости», а также прочих прелестей идеологии неутрахающей борьбы за светлое будущее, безнадежно устали от политической суеты, особенно несносной в области искусства. От чуть было не оболь-

стившей нас «реальной критики», на самом деле одинаково противной и нетворческой во всех ее разновидности. Критика «эстетическая», некоторый даже академизм, чтущий культурную традицию и древние святыни, представляется подходом более конструктивным.

В любом случае более чем сомнительно, что политизированная культура может иметь право считаться культурой в ее истинном значении и назначении — то есть способности создавать, сохранять и проповедовать ту самую Красоту, что должна спасти мир. Не оттого ли гибнет он, что, гоняясь за призраками, забродивших в Европе, потоптали Красоту, как свиньи — жемчуг?

И удалилась она от нас, оскорбленная — к кому? Куда? Бог вест. Или затоптали?

Михаил Осоргин, Владимир Максимов, Иосиф Бродский... — кто еще? Лимонов мне сейчас милее Солженицына с его даром Исайи: великого Солжа, непрекрасимого и неуомолимого, как Ветхий Завет. Да, тысячу раз он прав — но что нам в его правоте?

Наше сознание изменяется необратимо. Еще немного такой жизни — и сможем ли мы когда-нибудь вернуться к культуре, кровно заинтересоваться духовными проблемами, что «дискредитированы» сейчас своим принципиальным неумением давать «блага», ибо несут — Благо. Буржуазность сознания как любовь к миру материальному — не у нас ли воцаряется, безвозвратно погубив нас «созлабном хлебом»? Тридцати сребренников не просим мы — хоть рублик... Инвалютный...

Надоело. Надоели ваши, господ и товарищи, бесплодные споры и «поиски решений». Надоела ваша культура конфронтации.

Нам некуда от вас бежать, негде спрятаться. Эмигрировать мы можем, как всегда — нищие и беззащитные — лишь в себя. В свою новую эстетику, в свои странные стихи, музыку, прозу и живопись.

Мария Руденко, МГУ

«Мы уехали в 73-м году — я и мой муж Андрей Синявский. К моему удивлению, сейчас Синявский оказался на родине одним из самых популярных писателей. Так что я стала женой знаменитости». Так начался наш разговор с Марией Васильевной Розановой-Синявской, издательницей одного из самых культурных журналов российского зарубежья «Синтаксис» (издается с 78-го года).

ВСТРЕЧА



Не сотвори себе кумира

— О чем вы хотели мне рассказать?

— О том, что происходило со мной здесь, в Москве, в двух редакциях. В «Огоньке» меня попросили писать для журнала все, что угодно, все, что хочу. А я говорю, тихо и ласково, глаза туплю, пальцем по столу вожу: «А про КГБ можно?» — «Можно, — отвечают, — пишите все, что хотите», — «А про это?» — «Можно!» И тогда говорю: «А если я в чем-то с Солженицыным не соглашусь, можно?» — «Нет, — говорят, — вот этого нельзя».

Вот так. В молодости был у меня поклонник, велосипедист. Приходил ко мне в гости, велосипед на плече, и водил меня на велотрек. Видела я там замечательные гонки — гонки за лидером. Знаете, что это такое? Это когда мотоцикл впереди разрезает воздух, а за ним — гонка велосипед. Так вот — несли за лидером мне у вас не нравятся.

Самое печальное в том, что такая же история повторилась и в редакции хорошего журнала «Знамя». Я хотела предложить им одну статью из «Синтаксиса». Мне сказали: «Это замечательная статья, но напечатать ее невозможно». Ничего у вас не получится, пока вы не



перестанете бояться говорить все, что хотите, пока не преодолеете этот внутренний страх, ничего не выйдет, сколько бы вы ни крутили свою лодку влево...

— Как вы ощутили эмиграцию? Что это такое?

— К 75-му году мы уже почувствовали, что эмиграция — это капля крови, взятая на анализ. И Синявскому к этому времени стало точно так же негде печататься в эмиграции, как и в Отечестве. Но вскоре появился журнал «Синтаксис».

— В чем сила и слабость эмигрантской литературы?

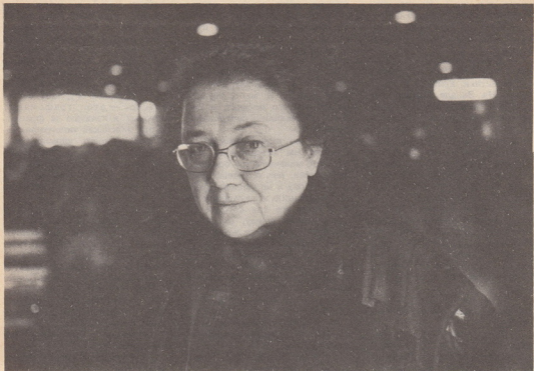
— Вы много знаете детей у

Моцарта или Бетховена? Я не вижу писателей, родившихся в эмиграции. Это музей, это кладовка, это хранилище самых замечательных вещей, но это не роддом. Поначалу, по приезде, мы пребывали в эйфории: прекрасный язык, прекрасные манеры, прекрасно сервированный стол. Через полгода русский кружок пригласил Синявского в Женеву прочесть лекцию. Он долго выбирал тему: «Ну, это слишком просто. Другое не очень интересно». Наконец решил преподнести что-нибудь изысканное. Прочте лекцию о Хлебникове.

Наступает этот день. Зал полон народом: русские съехались со всей Швейцарии. Ходит Синявский по эстраде, читает, и вдруг до меня внезапно доходит, что, кроме меня, его жены, да еще нескольких человек профессуры и старых литературоведов — слова такого «Хлебников» никто никогда не слышал. Что все — кошке под хвост. Ну, взрыв аплодисментов. Вопросов, конечно, нет, какие могут быть вопросы... А потом, по традиции, в кабачке правление вместе с гостем пьет пиво. Рядом с Синявским сидит какая-то престелная старушка в шубке и на ухо у него спрашивает: «А вы из Москвы приехали?» — «Из Москвы», — говорит Синявский. «А в Москве церквей много?» — «Не очень много, но есть». — «А вы в церкви бываете?» — «Да, бываю». — «А вы там наших видите?» — Тут Синявский ничего не понимает и спрашивает: «Кого наших?» Она говорит: «Белых». Бедная крошечка Синявский начал выкручиваться, как уж на сковородке.

Тут-то я и почувствовала, что не все так просто в этом королевстве под названием «русская эмиграция». Русская эмиграция — это на самом деле кладбище. Но один покойничек просто спит в могиле, а другой вампирчиком работает. И у нас даже появился такой домашний термин для тех, кто принял правила игры русской эмиграции первой волны — «подсосанный». А правила довольно простые. Россия — это святая Русь, оккупированная евреями, поляками и латышами.

Литература первой волны эмиграции благополучно завершилась. Набоков ушел в ан-



лийский язык, другие ушли на свое кладбище. И вторую волну эмиграции не признавали. «Чонки» долго не мог найти издателя: разве может русский солдат быть кривоногим? Не правда ли, это очень напоминает отзывы советских генералов: одни белые, другие красные, но на них оказала влияние одна и та же эстетика.

Так же и я, решив поделиться там нашими ценностями, поставила пленку Высоцкого, а в ответ услышала: «Шаляпин пел лучше». И дети их, дети эмигрантов первой волны, не разговаривают на русском языке, но они знают, что есть святая Русь, и легенда о святой Руси живет и существует.

У эмигранта есть два пути: или жить по правилам русской колонии, русской прессы, или раствориться в той стране, куда он приехал. В Америке это легче всего. Мне эти оба варианта не нравятся. Я называю «Континент» — «русским обкомом», а Солженицына — «русским ЦК». «Синтаксис» позволил себе быть единственным независимым журналом.

Вы здесь все-таки не понимаете, что эмиграция такой же

мир, как, например, и лагерь, если уж на то пошло. А лагерь — это такой же мир, как воля: там такой же точно процент негодяев, умников, партийных и беспартийных. В свое время, когда сели Синяевский с Даниэлем, поднялась такая волна защиты, появилась мода на политзаключенных, московские девушки выходили за них замуж, как, например, сейчас за иностранцев.

Не надо набрасываться на эмиграцию, на эту литературу, как на заграничные ботинки.

— *Мы привыкли называть патриотом того, кто умер в России. Синяевский уехал, Даниэль остался. Как так получилось?*

— Они не сиамские близнецы. Они были большими друзьями, и, может быть, если бы перед Синяевским опять не встала проблема печататься на Западе, он бы не уехал. У него к тому же было нормальное раздвоение личности: с одной стороны, Абрам Терц, с другой — профессор Синяевский. Французские ученики, которым он преподавал в Московском университете, пригласили его в Сорбонну. Даниэль своим при-

званием все-таки считал переводы. Он не видел, чем он «там» может заниматься. Переводить стихи на русский? Эмиграция не сахар и даже не варенье. Никому не советую.

Даниэлю, конечно, приходилось нелегко. Ему придумали кошмарный псевдоним «Ю. Петров». И все равно в это время ему часто не давали работу, тогда Булат Окуджава и Давид Самойлов брали эти переводы «на себя».

— *Писатели, которые вам нравятся. Кого вы печатаете?*

— Эдичку Лимонова люблю. За то, что он выбрал такой способ отстранения, что так умудрился вывернуть соцреализм. Чтобы так вывернуть соцреализм, как его выворачивает Лимонов, надо было столько писать и читать. Вот уж кто за лидером никогда не бегаёт. А наоборот — всегда против ветра. Была такая история — жил Эдичка недалеко от еврейского ресторана. Во время одного налета палестинских террористов на этот ресторан толпа бежала от ресторана, а он бежал навстречу, и прибежал туда раньше полиции. Он не любит, когда поют хором. Все

равно, что поют. Он не обожает сам жанр хорового пения.

— *Кого из советских писателей вы бы взяли в свой журнал?*

— Почему именно «писатели»? «Синтаксис» — журнал публицистики, критики и полемике. На Западе вообще нет традиции нашего толстого литературного журнала. Писатель должен печататься в книжках. Мне нравится Пьецух. Я печатала Битова. Буду печатать Татьяну Толстую. Но прежде всего мне нужна критика. Для меня обещали писать Виктор Ерофеев, Игорь Волгин...

В последнем номере «Синтаксиса» вышла статья Натальи Ивановой «Пожилая гвардия». Обложка иллюстрирована надписью: «Еврей умному не помеха». Эмиграция и «метрополия» живут теми же проблемами.

— *Что вы скажете людям, которые уезжают сейчас из России?*

— Я их очень хорошо понимаю, тех, которые бегут нас-всем и бегут от страха. Им нужно или поскорее ассимилироваться, или искать в себе мужество жить так, как живем мы. Однажды я сказала Сиянскому: «Плвать на всех! Давай встанем спина к спине и будем отбиваться». Вообще надо быть самодостаточным человеком. К сожалению, мы твари коллективные и ищем, к чему бы приклониться. Это все русская традиция жить «миром», «на миру и смерть красна». Не лежит ли где-то в основе колхоза стремление жить миром и не привело ли это к трагедии?

Мы с Сиянским очень долго были заядлыми славянофилами, и вся наша жизнь до ареста проходила в поисках Руси. Мы исходили весь Север пешком, на байдарках, на попутных машинах. Прошли по всем северным рекам, искали Святую Русь и находили. Но рядом с этой Русью, рядом со слепой бабкой Ульяной, которая собирала иконы, ставила на заброшенном курятнике крест и открывала часовню, мы видели председателей колхозов, которые разоряли все это, встречали на тех же реках, в тех же местах загаженные, испохабленные церкви. Все это сделано руками русских людей. Зачем же возмущаться или

кричать: «Что с нами сделали?» Я не понимаю людей, которые не выбрали свой путь сами.

— *А вы сами выбрали свой путь?*

— Да. В 56-м году мне было 25 лет, и я уже знала, что мне надо делать. И мы с мужем знали, что его посадят, и его тогда посадили совершенно правильно.

Мой сын вырос французом. Вначале мы хотели воспитать русского мальчика: вот большая библиотека, все самые предания. Пока я не увидела русскую эмиграцию, это кладбище. И я бросила его как котенка во французскую школу, во французскую среду. И не жалею.

— *А что вы любите в России?*

— Я в России люблю своих друзей. Людей люблю. А березки и там растут. И вообще мир красив всюду.

— *Вы не вернетесь в Россию?*

— Я боюсь сюда возвращаться. На третий день я умру от раздражения.

— *А что нужно для того, чтобы вы вернулись?*

— Отдайте мне страну на три года!

— *Вы бы организовали свою партию?*

— Я бы организовала одну партию — партию здравого смысла.

Мы с вами филологи, и я надеюсь, что не оскорблю вас редким и непривычным словом. В журнале «Синтаксис» однажды было напечатано:

Пора, мой друг, ебёна мать,
Умом Россию понимать!

— *Как вы думаете, что с нами будет?*

— Я уже говорила: самое плохое, если не перестанет гнаться за лидером. А если победит демократия, то... разрушится миф о самой читающей стране. У вас ведь литература заменяет политическую жизнь, заграничные путешествия, занятия бизнесом. Как только появилась возможность поиграть⁴⁸ в политику, сразу стали меньше читать. И сейчас народ читает в основном публицистику.

— *А что пишет сейчас Сиянский?*

— Он закончил книгу о русской народной вере, о русских святых, о фольклоре. Она называется «Иван-дурак».

— *Мария Васильевна, две*

недели назад я видела вас, вашего мужа, ваш дом... в Ленинграде на просмотре материалов документального фильма «Митьки в Европе». Они были у вас в гостях и выпускали книжку в вашей типографии?

— О, моя типография. Один из источников журнала «Синтаксис» — это графоманы, которых я печатаю за франки. И эта маленькая типография — источник моего удовольствия. Я выпустила книжку Резо Габриадзе с предисловием Битова «Пушкин в Испании» на желтоватом, под старину, ватмане, в ста экземплярах.

И, конечно, с «митками» у нас получилась книжка, на прекрасной, тяжелой обложечной бумаге. Конечно, они все плясали вокруг печатного станка. Сожрали весь холодильник и выпили все, что было в доме.

При нашей, при вашей तो есть, невообразимой, невероятной, тяжелой отечественной серьезности (сидим на горшке и тужимся) «митки» — это прекрасно.

— *А что вы думаете о нашей молодежи?*

— Мне кажется, те, кто помоложе, посамостоятельней, на самом деле старше многих стариков. И мне гораздо интересней с вами, «маленькими», чем с большими, почтенными. Мне приятно, что кто-то из вас знает «митков». Те «митков» уже не знают.

— *Вы любите Францию?*

— Да, я как-то ужасно полюбила французоз за их революцию. Они так резвились! Сейчас появились новый настенный календарь, и там всю революцию делали... кошки. Кошки танцевали «Карманюлу», кошки брали Бастилию. Так развлекаются французы. Попробовали бы у вас, такой бы вой поднялся!

Когда мой народ научится смеяться, я вздохну с облегчением. Потому что не может быть ничего плохого, когда мы смеемся. Не может быть прогромов, других страшных вещей...

Беседу вела Ольга Адроа, студентка МГУ

Гений Карпат?

Михаил Щипанов

Нет, мы сознательно опустили в заголовке кавычки, речь в этом очерке пойдет не о Чаушеску, хотя наш герой также любит деньги и власть и умело управляет огромной империей, над которой действительно «никогда не заходит солнце». Полвека он в дороге: то пешком, то на армейском джипе, то в кресле собственного вертолета. Как полумифический Калиостро, он менял города, имена, паспорта и подданства. Друзья юности знали его как Яна Людвиг Коха, партизаны второй мировой звали его Лесли Джонсон, солдаты союзников, освобождавшие Париж, вспоминают, быть может, сержанта-усаца Ивана де Морье, нашедшего во Франции не только воинскую славу, но и очаровательную невесту.

Ко всему сказанному осталось только добавить, что английские сатирики прозвали нашего героя Капитан Боб, солидная «Файнэншл таймс» ласково именует его «китом-убийцей», а французские коллеги кличут «мамонтом». И вот перед вами послужной список Роберта Максвелла. Того самого миллиардера, «владельца заводов, газет (ежедневный тираж более 10 миллионов экземпляров), пароходов», а также хозяина издательского концерна «Пергамон», газетной группы «Миррор», акционера нескольких телекомпаний, агентств, обществ и фирм разной специализации, наконец, спонсора и создателя журнала «Наше наследие», лимитированный тираж которого доставляется нашим подписчикам за неконвертируемые рубли из далекого Лондона.

Впрочем, «Наше наследие» — это в определенной степени и его, Роберта Максвелла, наследие. Уже после войны он стал как бы заочно нашим соотечественником, будучи уже к тому времени гражданином Великобритании.

Максвелл так и не прожил ни одного дня в родном закарпатском местечке при Сталине, обратился уже к Хрущеву с просьбой посетить родное пепелище, а получил разрешение приехать только от Брежнева. Кстати, Максвелл, как утверждали, сумел выучить и русский язык, восьмой или девятый в его арсенале полиглота-предпринимателя.

Правда, к моменту свидания Максвелла со своим родным разрушенным беспощадной войной очагом, этого «газетного магната», «владельца фабрики лжи», «империи кривых зеркал», уже не считали в Кремле «классовым врагом». Издательство «Пергамон-пресс» в своей серии «Лидеры современного мира» всю печатало сборники речей и статей восточноевропейских руководителей, начиная с Леонида Брежнева. Настоящим открытием этой обращенной к Востоку серии стал вынесенный на обложку портрет Войцеха Ярузельского без традиционных черных очков, делающих польского лидера похожим на непроницаемого сфинкса. В то время Максвелл лично взял интервью и у Николае Чаушеску, по-видимому, Карпаты манили его неотступно.

Так состоялось некое скорее символическое возвращение домой Роберта Максвелла — Яна Людвиг Коха. Родину, как известно, нельзя унести на подошвах, к тому же пепел уничтоженных в нацистском конц-

лагере матери и сестер постоянно стучал в его сердце. «Скрипач на крыше» словно действительно был написан в моем местечке», — любит повторять король британской прессы, родившийся в многодетной семье бедняков из бедняков, ютившейся в хижине с земляным полом. «Опять святочный рассказ из жизни миллионера», — воскликнет кто-нибудь и будет в чем-то прав. Но жизнь богаче легенд и сказок. Матушка Яна, мечтавшая видеть подрастающего сына священником, была убежденной активисткой... чешской социал-демократической партии.

Сын же зарабатывает себе на жизнь не только не профессиональной службой Богу, но и деятельностью, не во всем соответствующей принципам социал-демократии. Правда, никто не знает, как бы сложилась дальнейшая судьба молодого Яна Людвига, не начнись война. Он не стал дожидаться, пока гитлеровцы разобьют прикладами дверь родной хаты, и перешел венгерскую границу.

Затем участие в Сопровителении, арест, приговор к смерти, побег по совершенно невероятному для тех суровых времен маршруту, который привел Яна Коха (трудно сказать, как его точно звали в тот период) сначала в Бейрут, а потом и в Лондон. Там он наконец поступил в регулярную армию и получил возможность по большому счету расчитаться с Гитлером. А о том, что Ян Людвиг умел воевать, свидетельствуют его высокие английские боевые награды. Военные отличия, врученные от имени Ее Величества, вероятно, сыграли не последнюю роль в выборе нашим героем нового места жительства. Он прочно осел в Англии и стал Робертом Максвеллом.

Но о прошлом Роберту Максвеллу нет-нет да напомним, особенно о причинах привилегированных отношений с Москвой. Дело в том, что он относился с ровной симпатией к Советскому Союзу еще в те времена политических заморозков и метелей, когда это было не только не модно, но и предосудительно. И за интерес к державе, включающей ныне и землю его предков, Максвелла неоднократно пытались заставить заплатить весьма тривиальным образом.



Неудобного человека можно публично объявить сумасшедшим, а можно агентом КГБ. Максвелла предпочли опутать не смиренной рубашкой, а сетями советской спецслужбы. Энтони Делано и Питер Томсон, два журналиста и бывшие «подданные империи Максвелла», решили разоблачить своего экс-шефа в книге с броским названием «Максвелл: портрет власти». Из любви к истине следует упомянуть, что Делано и Томсон были не первые, кто попытался прицепить к блейзеру Максвелла погоны со звездочками, и потому для закручивания сюжета они воспользовались старой затравкой. Вновь вспомнили, что в 1945 году Максвелл находился в поверженном Берлине, где занимал должность военного цензора местной восстанавливающейся после всеобщего разгрома прессы, волей-неволей соприкасался и сотрудничал с советскими коллегами, а потому наверняка был завербован «бериевскими соколами».

Книжка была явно сброшюрована белыми нитками, но неудовлетворенным, видимо, размерами выходного пособия журналистам необходимо было срочно подзаработать, да и счета свести с Капитаном Бобом. Заработать как следует им так и не удалось, Максвелл подал в суд на авторов за клевету и инсинуации, и книжки с прилавков пошли под нож.

Сейчас его «пограничные» ротационные машины стоят в Кении и Японии, Таиланде и Бразилии, Швеции и Китае: во Вселенной Гутенберга продолжает расширяться галактика Максвелла. Достигнув, казалось бы, высшей власти в мире прессы, Капитан Боб не прекращает борьбы с равновеликими магнатами печатного станка и прежде всего с австралийцем Рупертом Мердоком. Один из фронтов этой войны «мамонтов» пролегал и через нашу страну. Далеко не все в этом мире можно объяснить сентиментальной ностальгией по утраченному в туманной юности отечеству. Дальновидный бизнесмен загодя, опережая конкурентов-издателей, закрепляется на нашем рынке.

Так что же конкретно представляет собой издательская деятельность Роберта Максвелла

ла? Ее основой послужил выпуск многочисленных научных и научно-популярных журналов. Капитан Боб блестяще доказал, что большие деньги можно делать не только на тиражировании комиксов и фривольных журнальчиков. И сейчас еще более 400 высококлассных изданий по проблемам физики, химии, медицины не испытывают особых трудностей с поисками подписчиков, в основном это научные центры и библиотеки, готовые выкладывать до тысячи долларов за эти иллюстрированные кладези мудрости. Рентабельность таких максвелловских изданий достигает 50 процентов. Не случайно систему «Пергамена» сравнивают с хрюшкой дойной коровой. Однако лет шесть назад хозяин посчитал, что эта «буренка» поглощает слишком много кормов,

и треть печатников получила окончательный расчет. Как остроумно отметили английские журналисты, политический противник Тэтчер лейборист Максвелл оказался блестящим практиком тэтчеризма.

Другим столпом империи стал выпуск массовых и общедоступных газет. В этой области Роберт Максвелл выказал удивительную гибкость, так плохо визуально соотносящуюся с его массивной фигурой (рост — 190 сантиметров, вес — свыше ста килограммов). Причем провал «Ежедневных лондонских новостей» не отбил у Максвелла вкус к предпринимательским новациям. Только за последние несколько лет он положил в карман чуть не пятую часть акций крупнейшей и популярнейшей программы французского ТВ «ТФ-1», четверть

акций агентства «Сигма», треть активов группы, контролирующей израильскую газету «Мариш». Паладил совместно с китайцами выпуск газеты на английском языке «Чайна дейли». А в планах выпуск общеевропейской газеты. Газеты Общезвропейского дома?

Уф, пора и остановить нарастающий поток информации, которым так успешно торгует Капитан Боб. Мы только надеемся, что, открыв очередной номер «Нашего наследия», вы вспомните и о соиздателе этого журнала. Ведь любой человек так же интересен, как и его дело.

«СТ. М.» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Вместо заявленного романа

Оперный певец, известный исполнитель камерной музыки, выступающий в лучших концертных залах мира, прилетел в Москву с благотворительным концертом, посвященным 150-летию со дня рождения П. И. Чайковского. «Ты должен его услышать!» — сказал мне Андрей Николаевич Зелинский, ученый и автор изумительных песен на стихи Н. Гумилева, которые, к сожалению, известны только его друзьям.

В Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского объявили: «Никита Сторожев, бас, Мексика! Виктория Постникова, РСФСР, фортепиано!» На сцену вышел русский князь, каким его обычно изображают в сказке...

Сильное предубеждение против эмигранта, привезшего в нелегкое для России время романсовый репертуар, рассеялось, когда Сторожев вместо заявленного в программе романа «Здесь хорошо» спел почти неизвестный нам на слова Д. Мережковского:

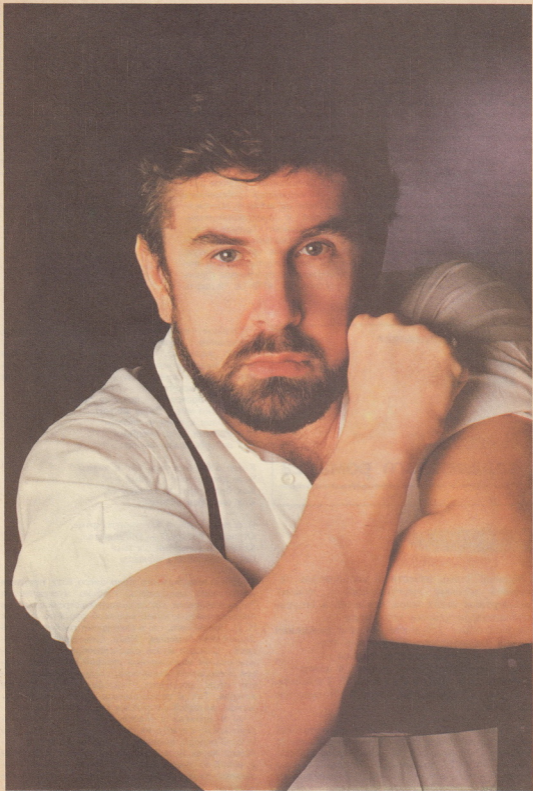
«Христос Воскрес!» — поют во храме,
Но грустно мне... Душа молчит.
Мир полон кровью и слезами
И этот гимн пред алтарями
Так оскорбительно звучит.

Когда б Он был меж нас и видел,
Чего достиг наш славный век,
Как брата брат возненавидел,
Как опозорен человек!.

И если б здесь, в блестящем храме,
«Христос Воскрес» — Он услышал,
Какими б горькими слезами
Перед толпой Он зарыдал.

Обладатель богатого природного баса произвел впечатление мыслящего, глубоко чувствующего Россию человека. После концерта встреча с певцом продолжилась в музее великого русского химика Н. Д. Зелинского, где в свое время гостили Сергей Яковлевич Лемешев, Иван Семенович Козловский... Сегодня музей стал своеобразным маленьким очагом возрождения русской культуры. Андрей Николаевич Зелинский, следуя традиции своего отца, воссоздал атмосферу музыкальных вечеров. Так я познакомился с Никитой Сторожевым, который согласился рассказать о себе:

— Я приехал в Москву... Включил телевизор, передавал службу из православного храма, где пели «Господи, помилуй...». И в то же время буквально через несколько минут сообщили новости о какой-то новой резне, о новых человеческих жертвах на юге страны... И вот это несоответствие молитвы по телевизору и человеческих жертв



создало такое впечатление, будто романс Д. Ме-режковского «Христос Воскрес» написан сейчас. Так что вы правы, я спел его не случайно...

Необычной, в духе века, оказалась и судьба Сторожева. Родился он 9 ноября 1950 года в Харбине в семье русских эмигрантов. Один дед был служащим Китайской военной дороги (КВЖД). Другой, Григорий Шишкин, — белый офицер, в первые дни революции покинул родину, заявив: «В братоубийственной войне участвовать не хочу!..» В 1955 году родители Никиты вернулись в СССР. Сначала свиносовхоз в Кемеровской области. Затем родина деда по отцу Максима Сторожева — Староутинск, или, по-изначальному, Старая Утка, где сохранился Демидовский завод. Бабушка Нина Константиновна Шишкина учительствовала еще до революции. Благодаря ей Никита, будучи учеником советской школы, также прошел домашний курс дореволюционной гимназии. Он получил понятия о русской истории по Карамзину, Ключевскому, Соловьеву... О Есенине, о Клюеве тоже узнал от бабки и полюбил их на всю жизнь не меньше, чем Пушкина и Лермонтова.

— Просторы, горы, озера, река Чусовая — такой мне запомнилась деревня. Она была поющей, пели много и на свадьбах, и на гулянках, народ был, и не по пьянке пел... Я даже играл там в духовом оркестре. — *«Где там?»* — уточнил я. — В Старой Утке. Да играл на альтушке. Альт — труба такая... Научился играть практически на слух в течение недели, — смеется Никита. — Во время новогодних елок нам приходилось играть для детей по 6—8 часов. До такого состояния играли, что у нас, у пацанов, начинали зубы качаться... Еще играл на барабанах по двум причинам — у меня было чувство ритма, и я был достаточно здоров, чтобы таскать десятикилограммовый барабан... На похоронах нужно было пройти по деревне, играя Шопена, не менее двух километров... Вокруг Старой Утки было много лагерей всевозможных, и политических тоже. С четырнадцати лет я работал на пилораме вместе с отсиженными мужиками. Все в татуировках!.. Эти люди открыли мне другой мир. Нет. Каких-то разговоров о политике не было, но это были весьма колоритные люди. Я относился к ним не со страхом или презрением, а с величайшим любопытством, потому что они во многом были интересней людей, окружающих меня...

В 1968 году после окончания школы Никита поступил в Высшее военное политическое училище, но после двух лет обучения комиссовался по болезни. Продолжал учебу на философском факультете Свердловского университета в надежде привести свои жизненные знания в систему и разобраться в действительности. Однако за драку (из-за девушки) его исключили из комсомола.

«Каяться на показательном суде в духе Вышинского не захотел, пришлось расстаться с университетом, имея на руках, как говорится, «волчий билет», — объяснил Никита. В вокальный кружок он попал совершенно случайно. Познакомился с Леной Хартуковой, симпатичной студенткой

консерватории. Она услышала его голос и заронила в его душу мысль о призвании певца. Выдающийся певец, солист Свердловского оперного театра Ян Вутирас, грек по национальности, поручился за Никиту Сторожева, обучил его певческим азам. Так он стал студентом Уральской консерватории имени М. П. Мусоргского.

Днем учился, ночью разгуливал с приятелем шестидесятитонные пулманы. Расценка была 1 рубль за тону. Позже стал зарабатывать пением. Ездил в составе бригад по колхозам, получая 5 рублей за выступление. День мог уйти на зарабатывание патерки. После смерти Яна Вутираса он учится в Москве, одновременно являясь солистом Большого театра. Среди его знакомых появляется золотая молодежь, дети номенклатурных работников, маршалов, министров...

— Кстати, — сказал мне Никита, — я с громадным уважением и признательностью вспоминаю нашего знаменитого летчика Михаила Михайловича Громова, Героя Советского Союза. Несмотря на значительную разницу в возрасте, мы были с ним большие друзья. Дворянин, ставший пилотом еще до революции, он должен был вести с интервалом в 30 минут свой самолет вслед за Чкаловым через Северный полюс в Америку... Но кто-то за ночь перед полетом разобрал двигатель его самолета... И Громов полетел на месяц позже, но он пролетел на 1000 километров дальше Чкалова... Так вот, он был изумительным лириком, имел абсолютный музыкальный слух, мог наизусть очень трудные произведения Рахманинова, которого боготворил. Будучи человеком весьма критически настроенным, он, узнав, что я покидаю Советский Союз, благословил меня со словами: «Никита, если ты считаешь, что это тебе поможет в твоём призвании, поезжай!..»

— *А какова была причина вашего отъезда?*

— Я женился на мексиканке, которая училась в Московской консерватории, и потому уехал легально без какого-либо скандала.

— *Не было ли это женитьбой по расчету?*

— Нет, после женитьбы мы жили в Москве, не имея собственной квартиры, поменяли за год четыре адреса. Жена должна была рожать... Кроме того, проработав в Большом театре пять лет, я почувствовал, что как артист начинаю буксовать на месте. Получить желанную значительную роль молодому певцу было невозможно. Сидеть и ждать, пока кто-то умрет или потеряет голос, не хотелось, тем более что в Большом театре поешь то, что тебе прикажут. Я искал творческой свободы... В Мексике у меня родилась дочь Настя. Зарботки позволяют мне отказываться от предложений, меня не устраивающих. Могу выбирать репертуар. С перестройкой мне открылась возможность чаще выступать вместе с соотечественниками. В Торонто я пел Бориса Годунова под управлением нашего выдающегося дирижера Геннадия Николаевича Рождественского...

— *Какие роли вы исполняли до отъезда на Запад?*

— Из больших ролей пел в «Царской невесте» партию Собаккина, в «Иоланте» партию Ре-не...

В опере «Октябрь» пел, кстати, партию министра Временного правительства, я был загримирован под Керенского, вокруг меня происходил разговор белых офицеров... Со сцены Дворца съездов перед Политбюро во время празднования 60-летия Советской власти я пел «Пора смести большевиков!..». Так что крамольные речи я произносил еще до перестройки. Но это было единственное мое антисоветское выступление, — смеется Никита и добавляет уже серьезно: — Думаю, что политики должны заниматься профессионалы, личности большого масштаба. Раздавать политические оценки, находясь вне Родины, считаю безразличными. Русский народ должен сам разобраться в ситуации и поменьше слушать многих «специалистов» Запада: куда, какими путями ему идти... Учиться нужно, но брать откуда-то со стороны рецепты во имя жалкой копии нелепо!

— Никита Леонидович, какова судьба русской оперы на Западе?

— В музыкальном отношении она осуществляется на высоком уровне, но сценическое воплощение в девяти случаях из десяти — это профанация русской истории, частью которой, как правило, являются знаменитые русские оперы. Последняя постановка «Хованщины» в Вене была просто ужасной — нельзя было понять, где стрельцы, где запорожцы... И что особенно страшно, в этой постановке пели известные советские певцы Атлантов, Шемчук — солисты Большого театра, пел Кочерга из Киева, Бурчуладзе и т. д. Они-то уж знают, какие должны быть костюмы, какая должна быть декорация. И все равно терпели.

Не знаю, почему они молчат. Они ведь певцы с большими именами... Непонятно, на наших глазах происходит искажение русского искусства, а мы в этом еще и участие принимаем... Сейчас на Западе вышел фильм в постановке польского режиссера Зулавского «Борис Годунов». Слава Богу, без участия русских актеров*. Там масса деталей вопиющего искажения вообще сюжета, то есть это какая-то вольная фантазия на базе «Бориса Годунова». Назовите это как хотите, но не называйте это «Борис Годунов!» Потому что там нет соответствия пушкинскому произведению. И меня возмущает как русского православного верующего человека, что в фильме Зулавского юродивый становится лицом к храму и делает «пи-пи», то есть он писает на Божий храм. А юродивый на Руси — это Божий человек. И таких «эпизодов» в фильме много.

— *Налицо насмешка над православием...*

— Издевательство, на мой взгляд! И я думаю, что если бы была в Советском Союзе комиссия из представителей просвещенной интеллигенции, которая могла бы подавать в суд на производителей таких псевдопроизведений искусства, то они, эти производители, задумывались бы о последствиях.

— *Вы хотите сказать, что на Западе возможно*

защитить наших классиков от режиссерского произвола?.. Но у нас и внутри страны, где историко вообще ампутировали как проклятое прошлое, наши классики практически бесстрашны перед теми, кто имеет абсолютное право на эксперимент...

— Да, но есть какие-то границы эксперимента. Когда через кино, через псевдооперы искажается представление о русском человеке. Когда его представляют Западу каким-то зверем, то это преступление... Почему дирижер, исполнитель не могут изменить ни одной ноты в партитуре, написанной рукой Мусоргского, и почему режиссер может изменять сюжет, написанный той же рукой Мусоргского и тем же пером?! Может переносить его в совершенно другую эпоху и в совершенно другое место?! Это существует не только в опере, но и во многих спектаклях...

— Никита Леонидович, я уже много думал об этом. И будучи кандидатом в народные депутаты РСФСР, в своей предвыборной программе предложил принять закон об ответственности за осквернение святых всех народов, проживающих в России или за ее пределами. И добиваться установленным путем включения данного закона в международное право. Избиратели предпочли другую программу. А вы согласны с моим предложением?

— Согласен. Но, если даже мы и не сможем наказать юридически режиссера-осквернителя, мы обязаны дать гласную оценку его деянию. Дать хотя бы моральный отпор искажителям. Чтобы людям на Западе открылась фальшивка. Если мы молчим, значит, даем молчаливое согласие! Есть какие-то факты истории, которые люди просто не имеют права искажать. Даже если нет специального закона, чтобы наказать. Нужно просто через статьи открывать людям глаза. Почему, если написана какая-нибудь фальшивка или что-то несправильное в адрес кого-нибудь из политиков или в адрес политики Советского государства, ТАСС тут же обращается с опровержением? Почти всегда эти опровержения публикуются в западной прессе. Почему не может быть такого опровержения на какую-то фальшивку-оперу? Это весьма опасное попустительство.

— *Каковы ваши планы на будущее?*

— В этом году я буду петь в Сан-Франциско, буду давать концерт русской музыки в Париже, в Лувре, где есть концертный зал. Буду петь в Лондоне «Пляски смерти» Мусоргского и ораторию «Иван Грозный» и т. д.

Я открыл для себя русского певца. Надеюсь, читатели журнала откроют в Никите Сторожеве мыслящего человека и еще услышат его замечательный голос.

*Беседу вел
Григорий Калужный*

* Фонограмма записана под управлением М. Ростроповича, который протестовал против фильма, но ничего не смог сделать.



Декоративное блюдо.
Роспись по мотивам
Александры
Щекатиной-
Потоцкой
«Аккордеонист играет».
1925 г. 6000—8000
английских фунтов
стерлингов

Возвращение в дом... Так мы определили главную идею этого специального выпуска журнала. Конечно, далеко не все возможные аспекты столь обширной темы нашли свое отражение в номере. Но мы старались донести до вас, дорогие читатели, мысль, что при всем нашем несомненном богатстве на талантливых людей нужно быть чрезвычайно осторожными и бережными, чтобы это богатство сохранить. Что только высокая нравственная культура, уважение чужого взгляда, мнения может спасти нас от духовного обнищания, наполнит жизнь многоликим разнообразием, что присущ развивающемуся, живому, меняющемуся миру.



Welcome

with your International Student Identity Card

Вокруг мира с ISIC!

Если вы собираетесь этим летом в длительную поездку, хотите посетить друзей в других странах или просто провести летние каникулы за рубежом, то вашим незаменимым спутником станет международное студенческое удостоверение. Оно результат совместной деятельности Международного Студенческого Союза и Международного Студенческого Бюро Путешествий. Спонсор — Международная Ассоциация Университетов, которая объединяет студентов 120 стран мира. В большинстве стран мира владелец удостоверения имеет право на 30—40-процентную скидку на авиа- и железнодорожные билеты, право поселиться в общежитиях и студенческих гостиницах, льготные билеты на культурные мероприятия. Более конкретно со всеми предоставляемыми льготами вы можете ознакомиться в национальных Студенческих Бюро Путешествий каждой страны. Остается лишь сожалеть, что на этот год на всю страну только 10 тысяч удостоверений. Нет валюты! Как, впрочем, жаль, что пока ими могут пользоваться лишь студенты университетов.